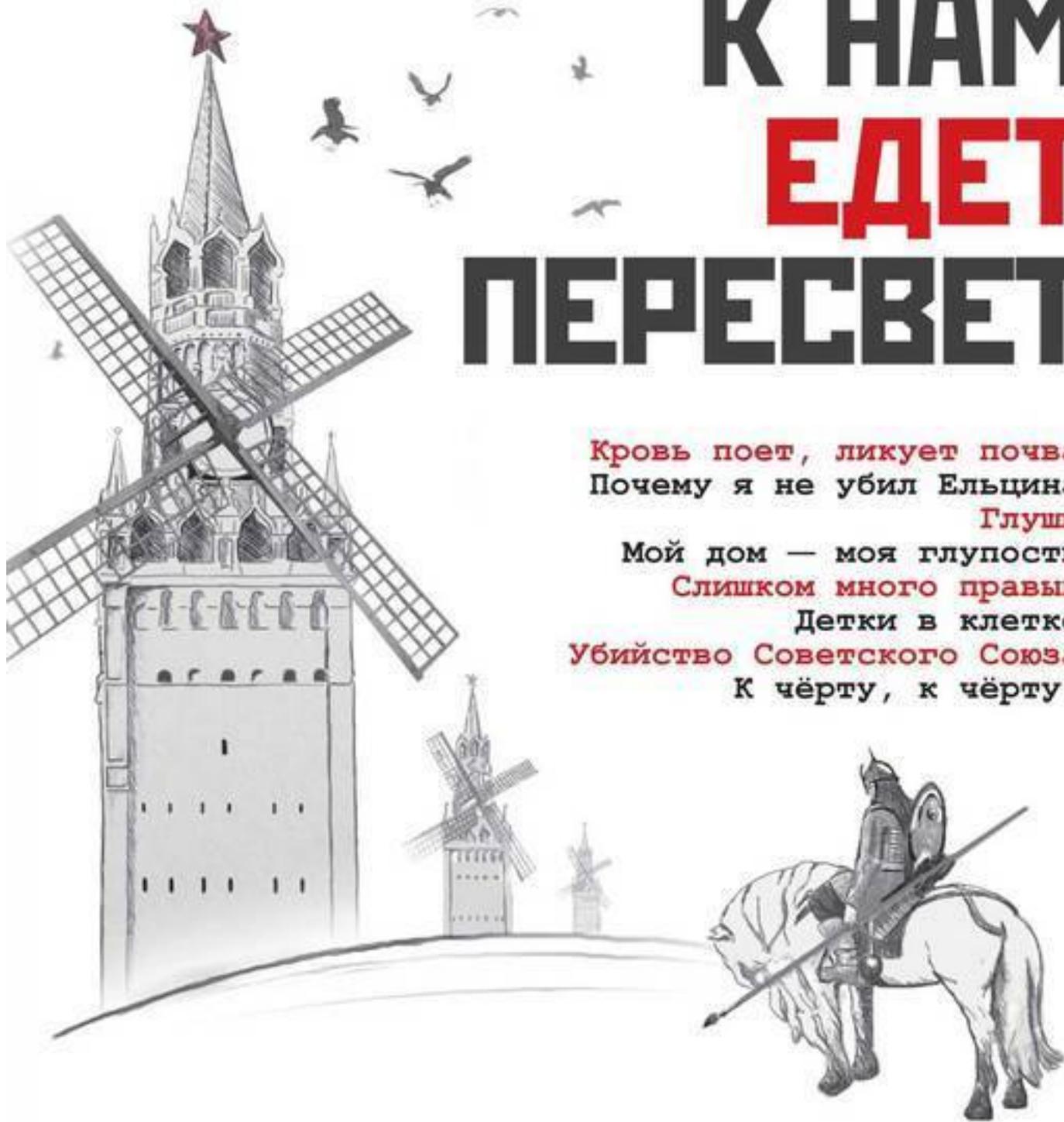


П ЗАХАР ПРИЛЕПИН

К НАМ ЕДЕТ ПЕРЕСВЕТ

Кровь поет, ликует почва
Почему я не убил Ельцина
Глушь

Мой дом — моя глупость
Слишком много правых
Детки в клетке
Убийство Советского Союза
К чёрту, к чёрту!



Захар Прилепин

**К нам едет Пересвет.
Отчет за нулевые**

«АСТ»

Прилепин З.

К нам едет Пересвет. Отчет за нулевые / З. Прилепин — «АСТ»,

Захар Прилепин – самый модный современный прозаик, лауреат литературных премий, среди которых «Национальный бестселлер», «Супернацбест» и «Ясная Поляна», публицист, журналист и телеведущий. В книге «К нам едет Пересвет» собраны лучшие эссе Захара, написанные за десять лет, – как хорошо известные читателю, так и не публиковавшиеся ранее.

© Прилепин З.

© АСТ

Содержание

От автора	5
Часть I	6
Кровь поет, ликует почва	6
Больше ничего не будет	9
Дышите	11
Десять лет без права переписки	13
О красоте, или Жизнь по отвлеченным понятиям	15
Русские люди за длинным столом	17
Привиделось и прислышалось	21
Отборный козий изюм	22
Пролеты и проруби	29
Че и Мигель: раз рыцарь, два рыцарь...	31
Печальный плотник, сочиняющий стихи	33
Есаул, есаул, ты же кинешь меня...	41
Преодоление декаданса	44
Кто виноват – Колобок?	47
Господин Президент, не выбрасывайте блокнот!	49
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Захар Прилепин

К нам едет Пересвет: отчет за нулевые

От автора

Публицистику я пишу с 2001 года. Подходит к концу 2011-й, так что получается что-то вроде юбилея. Вся эта десятилетка пришлась на пресловутые «нулевые», которые календарно закончились, но долгожданного слома времен так и не случилось.

Кого-то начало «нулевых» обнадеживало; сразу скажу, что меня – нет. Не потому что я такой прозорливый, а просто не было никакой надежды и всё.

Некоторые, надо сказать, и до сих пор надеются, причем на тех же людей, на которых надеялись десять лет назад. Удивительная вещь! Как будто мы собираемся жить триста лет и никуда не торопимся. И прощаем другим их катастрофическую неторопливость.

Просмотрев написанное мной за десять лет, я убедился, что здесь есть несколько более-менее точных формулировок, пара внятных социальных диагнозов, дюжина недурных портретов... в общем, мне нисколько не стыдно за всё то, что я в свое время наговорил.

И за то, что я говорю сейчас, тоже не стыдно – а тут собрано, замечу, много новых эссе.

Есть вещи, которые никогда не напишешь в прозе – они выламываются из текста. Когда о прозе говорят «слишком публицистично» – это всегда минус. Что вовсе не отменяет ценность самой публицистики. Только дураки пишут исключительно в расчете на вечность и не размениваются по мелочам. В этой книжке я, напротив, старательно размениваюсь по мелочам, и хорошо, что так, и правильно.

Осталось лишь добавить, что каким бы печальным ни виделось мне будущее России, это, к сожалению, никак не отменяло моего веселого и злого настроения. Своим настроением я хотел бы поделиться и с тобой, читатель.

Часть I Я пришел из России (2001–2007)

Кровь поет, ликует почва

Почва и кровь – говорить об этом сегодня странно и почти неприлично.

Одни тянут почву зубами за стебли – под себя, под себя. Лежат на ней, разбросав загрязненные руки и крепкие ноги. Находятся в состоянии войны, хотя по ним никто не стреляет. Хоть бы одна бомбежка, небольшая, мимолетная, – взглянуть, кто из них останется тянуть зубами за стебли, а кто исчезнет, как шумный морок.

Другие кривятся и говорят: какая почва, боже мой, это первобытно, это пошло, в конце концов... «Есть аргументы посерьезнее? – спрашивают они. – Что там у вас, кроме почвы? Выворачивайте карманы!»

Нет, отвечаю. Аргументов нет. Ничего, кроме почвы, нет. В карманах ириски в табаке.

У почвы есть несколько несомненных достоинств.

В отличие от нас, она молчит. Можно вслушиваться в это молчание и ловить его смысл: оно мрачное? оно нежное? оно величавое?

И кровь молчалива, и движение ее как движение времени. Времени тоже можно вскрыть вены, и тогда оно плещет через край – мимо тела, в горячую воду, в скомканное полотенце, в крики близких и любопытный ужас дальних.

Наша почва растворила в себе бесчисленное количество русских сердец. Я очень понимаю, отчего суровые мужики иногда гладят землю руками. Я увидел это мальчиком в фильме «Семнадцать мгновений весны» и потом, когда вырос, еще несколько раз видел, но смотреть на это хуже, чем на женские слезы.

Поведение и первых, о которых мы сказали выше, и вторых, о которых упоминали там же, продиктовано, по сути, одним: мучительным, таинственным, невыносимым страхом смерти.

Первые хотят заласкать, задобрить почву: прими меня нежно, прими меня лучше позже, совсем поздно, давай даже не будем разговаривать сейчас об этом.

Не хочу брать грех на душу, но иногда сдается, что первые хотят прикормить почву другими, пропустить их вперед в этой очереди.

Вторые говорят: ненавижу тебя, почва, ты и меня хочешь растворить, мерзкая, черная земля.

Почва и кровь, по сути, одно и то же. Почва – застывшая, сконцентрированная, тотальная, неподъемная кровь, которую нельзя уже выпустить на волю. Мы носим свою кровь в легком теле, готовя ее к почве. Мы поливаем цветы и хлеба.

Вторые говорят: не хочу ваших цветов, они некрасивые, хлеба ваши невкусны, прогорклые, чужды. «Не дам ей крови своей, пусть питается чем хочет».

«Почему русская почва такая, что из-за нее все время надо убивать или умирать?» – спрашивают они.

Пустой вопрос, всякая почва такая. Главное – ее разыскать, почувствовать, что ты врос, закрепился и тебя не сорвать никаким беспутным ветром. Тогда вдруг становится понятно, что убивать из-за нее, может, и не придется, а уж зажить ради нее – вообще одно удовольствие.

Моя почва – счастливая, легкая как пух, несущая радость, танцующая в такт, распахивающаяся навстречу, когда хочется упасть.

Это было, наверное, двадцать пять лет назад...

Четверть столетия прошло, кто бы мог подумать.

В соседский дом на лето приехали дед с внуком. Деда так и называли все – Дачник. Тогда это еще было редкостью – дачники. Сейчас все наоборот: одни лишь дачники и остались.

У деда была фамилия Вайнерман, и до прихода новых времен я был уверен, что дед – немец. Внука его звали Валей. Валя Вайнерман.

Мы бродили по округе, как Пушкин с Дельвигом.

Я тогда уже знал эти две фамилии, и мне наши прогулки казались необыкновенно поэтичными. И разговоры наши были неспешны и мудры. Так мне думалось, хотя наверняка мы лишь бездарно воображали и хвастались.

Вообще мы казались тихими подростками, но потом неожиданно для самих себя украли плот у взрослых пацанов с дальнего порядка, и целое лето наполнилось смыслом, бесконечным купанием, ежевечерним сокрытием плота в кустах у мостков, на которых, боже мой, мать моя полоскала белье вплоть до самой осени, в ледяной уже воде.

Это ведь не в книгах у деревенщиков я прочел, это было в моей еще даже не прошлой, а позапрошлой какой-то жизни. Мать на мостках у черной воды с белым бельем.

И вот к Вале и деду должна была приехать бабушка. Дед оставался к данному событию совершенно равнодушным, а Валя ждал и волновался. Ситуация усугублялась тем, что бабушка приезжала в день своего рождения. Нужно было готовить ей подарок – а что он мог подарить, Валя Вайнерман, мальчик семи, что ли, лет или восьми?

Денег ему дед не давал, да и нечего тогда было купить.

Утром, за несколько часов до приезда бабушки, Валя был у меня, всем видом источая почти невыносимую для детского сердца печаль. На улице начал накрапывать дождь, и это не прибавляло нашим поэтичным душам светлого настроения. Где-то вдали загромыхало, словно кто-то вместо привычных деревенских ковров решил вывесить и отбить огромный лист железа.

– Валя! – вдруг осенило меня. – Помнишь, мы с тобой видели викторию? У Шаровых?

– Чего? – спросил Валя, оживившись, но не веря еще своему счастью.

– Ну, ягоды виктория.

На улице вдарило, да еще со вспышкой, неожиданно и злобно. Мы слетели, громяхая косточками, с окна и сразу засмеялись своему искреннему, как детство, страху.

– И чего? – спросил Валя, отдышавшись.

Я смотрел за окно, где начался такой дождь, что не стало видно деревянного нужника, стоявшего во дворе в двадцати шагах от дома.

– А того! Представляешь, как обрадуется твоя бабушка, когда она приедет, а у нее на столе два ведра ягод?

– Два ведра?

– Два ведра. Пошли скорее.

– Давай после грозы, – предложил Валя. На улице громыхало и поливало настолько бурно, что даже в доме приходилось разговаривать во весь ломкий голос.

– С ума сошел, Валя? Надо сейчас, пока все попрятались.

Взяв в кладовке два огромных, почти по пояс нам ведра, нахохлившись, мы вылетели на улицу, как сумасшедшие воробы. Сразу же безудержно заскользили на грязи и в мгновение вымокли до последней синей жилки.

В грохоте и ливне мы, ежесекундно сбиваемые с ног, добрались до огорода, пролезли, узкоробрые, меж досок и начали собирать ягоды.

Мир был полон грозой и дрожал, как передвижное шапито. Земля пузырилась вокруг нас, словно живая. Глаза заливало ледяным кипятком. Грядки смешались, будто их растерли по огороду тяжелой ладонью. Ягодные листья никли к земле. Ягоды влипли в грязь, и, чтобы извлечь их, приходилось черпать землю, обильно загоняя ее под ногти.

Трясущиеся и хохочущие от ужаса, в безумных вспышках громовых, мы бросали в свои железные, полные воды ведра сгустки грязи в форме сжатой детской ладони, несчастные обрывки листьев и редкие ягоды, раздавленные в наших руках.

Мы вытирали глаза и рты, и рты наши были черны, а бесстыжие глаза грязны, даже дождем не смывало эту грязь и черноту.

И когда меня спрашивают, что я знаю о почве, я отвечаю: знаю всё. Я черпал ее, кормился ею, мазался ею, ползал по ней на животе. Знаю, что когда вокруг гроза, на почве растут ягоды, и сердце толкает кровь так, словно взмахивает крыльями.

Теперь моей почвы касаются легкими стопами мои дети – и кто же мне докажет, что говорить о почве дурно?

Вчера видел: сын двухлетний снял под яблоней сандаляки, поднял яблоко с земли, ходит-покусывает, иногда снова присядет и смотрит на розовые пяточки: не налипло ли чего от курицы или от гуся, – пахнет противно, зато смотрится на пяточке красиво, как акварельный мазок.

Встанет, идет дальше, делает бессмысленные круги, кругом птицы и солнце.

Растворенные в почве сердца его деда и прадеда ликуют, поддерживая эти пяточки, – я уверен в этом ликовании, как в своем имени.

Кровь моя поет беззвучно. Сейчас тоже пойду сорву себе яблоко.

2007

Больше ничего не будет

Несколько слов о счастье

Недавно мне пришла в голову идея начать книгу примерно так:

«Господи, каким чудесным казался мир в детстве! Как много прекрасного он обещал! И все сбылось».

После этого можно писать о чем угодно.

Ведь по большому счету дело не в том, что сбылось, а в том, как ты на это смотришь.

Счастье – эффект зрения. Мечта – точка, в которой сходятся наши желания и наши возможности. Но место этой встречи мы можем обозначить сами: это наше личное право. Можно назначать встречу своих желаний и своих возможностей ежедневно и каждый раз радоваться, что опять все получилось.

Счастье, в конце концов, плод воображения – в самом лучшем, первичном смысле этого слова. Плод воображения одного человека. Больше для этого никто не нужен.

И вот человек говорит:

«Я прожил столько разных, безумных, замечательных, бешеных, тихих дней, которых мог бы не прожить. Я так сладостно болел ангиной. Я помню вкус ворованного яблока. Первый снег. Свой велосипед с элегантной “восьмеркой”. Черт знает что я помню и черт знает зачем. Мог бы ничего не помнить, не знать, не увидеть. Это ли не повод для счастья?»

А если этих поводов еще больше...

Тем более что их больше наверняка. Почва для счастья – повсюду, смело ступайте твердой ногой. Пища для счастья – повсюду, вкушай не хочу. Сердце для счастья раскрыто, как весенний скворечник. Сейчас птица прилетит и поселится, и будет тепло, и птенцы веселые и бестолковые.

Мечта, а не жизнь! Сама жизнь – это и есть мечта. А что вы думали?

Мечта сбывается ежедневно, потому что жизнь продолжается. О чем можно вообще мечтать столь сладостно, как не о новом дне на прекрасной земле? Вы что, с ума сошли, разве есть что-то сравнимое с этой радостью: быть здесь, среди милой человеческой суеты? Идти по земле под сладостный стук своего горячего сердца?

Я долго размышлял на тему, о чем мне все-таки мечталось, и никак не мог вспомнить. Смотрел в потолок. Листал детский альбом. Наклонял голову вбок, как делают, когда в ухо попала вода, даже тряс головой: эй, детская мечта, юношеская мечта, мечта и маята моя зрелая, вернитесь, вспомнитесь!

Ничего не вспомнил.

Ну, наверное, я мечтал, чтоб я родился в своей деревне, и родила меня моя мать, а моим отцом был мой отец. Потом я мечтал, чтобы летом мне было жарко, весной зябко, зимой весело и весной совсем забубенно. И чтоб солнце всходило, и ночью по миру шел тихий шорох тишины, и фары машины пробегали по потолку: кто-то проехал мимо моего счастья, а я лежу тут под одеялом – не дышу, не дышу, не дышу. Оттого, что – всё сбывается и сбывается, и никак не перестанет.

Трудно мечтать о чем-то, когда тебе изначально дали больше, чем ты ждал когда-либо. И потом не оставляли ни на минуту.

Нам всё уже отдали, я говорю. Нам больше никто ничего не должен.

Всё при нас.

Счастье вырабатывается человеком, как энергия. Человек вырабатывает счастье сам, рас-trачивая направо и налево вещество жизни. Счастье не приходит в пустое место, где пустота и паутина. Оно приходит туда, где человек настроен на постижение главной и, по сути, един-

ственной мечты человечества: жить человеком, быть человеком, любить человеком. И мечтать только об этом.

Стоит лишь на мгновение задуматься о том, что творилось на этой черной земле за многие тысячи черных лет... Сколько живых милых беззащитных душ исчезло до срока, было дико и жутко изуродовано, изничтожено – нещадно и омерзительно!..

На фоне всех этих жутких судеб – кто дал нам право ощутить себя несчастным? Растерявшим и разменявшим мечту свою на печаль свою? Разочаровавшимся, в конце концов... Кто право нам дал?

Недавно приехал в Москву, счастливый, на желанную встречу с друзьями, на добрый отдых, – и зашел в метро, и увидел, как несут двоих детей на плечах родители, и дети явно опоены чем-то и спят каким-то странным, полуживым сном. И родители их собирают милостыню.

Вышел и расплакался... Хотя нет, нельзя этого делать, и я сделал вид, что соринка в глаз попала.

И написал жене *sms*, что мир вокруг нас преисполнен такой невыносимой на вкус печали и горести, что всем нам просто нет иного выбора, чем бесповоротно и навек приговорить к счастью хотя бы самих себя. Пока мы в силах. Пока мы в разуме. Пока мы вместе.

И она согласилась. Я как раз об этом мечтал в тот момент.

2006

Дышите

Всякое время года начинается утром: сначала его слышишь – вслушиваешься в него, греясь под одеялом, пугаясь извлечь себя на белый свет.

И по тем или иным звукам, всхлипам и вздохам понимаешь: вот он, пришел, мой любимый месяц... Ну, как у кого, впрочем.

Март ни с чем не перепутаешь. Март вообще имеет куда более серьезное отношение к психологии, чем к природе как таковой.

Потому что поначалу март – это просто истерика, это разлад, это развод, это распад. «Черт знает что такое этот март, а не месяц», – думаешь в первые его минуты.

В марте все становится слышно, как будто весь мир переехал в коммуналку. Трамваи грохочут всеми железными костями. Собаки во дворе лают так, будто снег ожил – и они его гонят. Дворники скрежещут лопатами, словно самый асфальт хотят зачистить и дать наконец прорасти траве.

И соседи вновь появляются – сверху, снизу и еще откуда-то по диагонали. Кто-то ходит так громко и четко, словно на костылях. Но быстро, черт, быстро ходит, на костылях так нельзя. Может быть, это когти у него? Иные кашляют, мешают ложечкой в стакане, моют посуду, много посуды, словно копили ее целый год, слушают любимые весенние мелодии, иногда одну и ту же мелодию много раз, по кругу. Где все они были зимой, отчего я их не слышал? Быть может, они пребывали в спячке?

Природа рушится, капель громыкает, солнце торчит в окне, как деревенский дурачок, улыбается во всё лицо, как будто ему дали леденец в красивом фантике. Хочется открыть окно, схватить снега, слепить снежок и запустить в это счастливое лицо... но снег сполз с подоконника, как элегантный шарф, и открылась ржавая ржавчина.

Нет, положительно, невозможно находиться под одеялом. Надо вставать, весна пришла, весне, чтоб ее разорвало, дорогу.

Встаешь, сбрасываешь одеяло широким жестом, как император.

И тут вдруг выясняется, что март – самый холодный месяц в году. Термометр врал! Ученые вдали! Какая, Бог с вами, зима, какие февральские морозы, какая декабрьская стынь! О, нет, никогда мне не было так холодно, как в марте.

Где мои тапки? Где мои шорты? Зачем я убрал свитера? Где мое всё?!

В марте наконец начинаешь понимать женскую психологию, первый постулат которой, как известно, гласит: надеть совершенно нечего.

Да, настоящему мужчине надеть совершенно нечего.

Например, в шубе чувствуешь себя мамонтом. В куртке – промозгло. В плаще противно – через пять минут он весь грязный снизу. Еще ни один автобус мимо не проехал, взметая черные, серые, коричневые брызги, ни один частник, уносящийся от смертельно опасной погони, не пролетел – а плащ грязный, грязный, грязный, хоть полы им мой отныне.

А обувь? Я бы ходил в валенках, но скользко. Ботинки сразу сырые. В сапогах становишься похожим на мушкетера. В сапогах мне хочется на лошадь.

Впрочем, как раз женщинам в марте определенно легче. У женщин есть юбки и ноги. Другая одежда уже не важна. Они эту не могли целую зиму надеть и заждались. Поэтому они надевают юбки и ноги – и тогда им стремительно становится хорошо! Мне на них даже смотреть холодно, а им хорошо.

Моей любимой хорошо. Она еще и без шапки. Для нее это радостно. А для меня март без шапки – трагедия. Но где моя мартовская шапка, какого мартовского кота мне для нее приспособить?

Я иду за юбкой и ногами и за милой головкой без шапки, иду мимо дворников, мимо заливающихся в лае собак, мимо общественного транспорта, мимо бешеных частников, мимо домов, мокрых и обнаженных.

Иду хрупкий, скользящий, растерявшийся, как старый семейный сервиз.

И вдруг останавливаюсь. И вдруг говорю: «Любимая, стой! Стой и ты, если стою я! Смотри, это Россия! Это русские люди! Это март!»

И вот что мы видим: я не вру ни в едином слове. Мы видим, как взвод... нет, пожалуй, как отделение солдат пытается спасти прохожих от переливающихся на солнце сталактитов – огромных, разветвленных, раскрыленных, многопудовых сосулек. Сталактиты висят на мрачном здании штаба внутренних войск, мимо него пролегает наш путь на работу.

Солдатам – я в курсе – не объяснили, как быть, что делать. Им сказали всего лишь, кто будет виноват, если сосульки по-прежнему будут громоздиться над головами. Виноваты будут они, солдатики.

Посему солдатики, недолго подумав, связали, скрепили одну очень длинную палку с другой очень длинной палкой. Как раз чтобы хватило до третьего этажа. Сначала они эту палку долго поднимают, она раскачивается на ветру, как мачта. Потом палка на мгновение застывает в вертикальном положении, и – бац! – раздается удар о ледяной сталактит. И тут происходит самое главное. Солдатики, которые обивают осклизлую зимнюю наледь, не находятся где-то там, скажем, в казарме. Они находятся прямо под сталактитами, которые от удара... медлен-н-но... тягостно... как в страшном кино... начинают ползти вниз. О, мама моя!

Тут солдатики бросают палку и веселыми прыжками отбегают. Сталактит с ужасным грохотом падает наземь. Таким ударом можно было уничтожить вражеский танк или затопить небольшую, опять же вражескую, подводную лодку.

Но солдатики, на лицах которых не проявляется ни единой эмоции, вновь возвращаются на место их то ли подвига, то ли преступления и опять поднимают ввысь палку. Она качается, качается, качается... потом – бац!

И все сначала: марш-бросок на десять метров, страшный удар, тысячи ледяных осколков.

Мы смотрим с любимой моею зачарованно. Мы держимся за руки. Руки наши горячи.

– Пацаны! – окликаю я солдат. – Погодите... Это... Вот – покурите. Покурите, а то очень страшно.

Я отдаю им всю пачку сигарет. Я сейчас брошу курить. Я еще не понял, что именно я понял только что, но это что-то очень важное.

Мы идем дальше.

Здесь останавливается любимая и говорит:

– Почка!

Одно мгновение я ничего не понимаю: всю зиму я помнил только про печень, при чем тут почка? Откуда?

А, почка. Почка! Почечка. Ароматная. Пахнет. Мы растираем ее между пальцами наших четырех рук. Мы все пропитались весной.

Позади снова обрушивается сталактит. Все хорошо. Все будут живы и счастливы. Даже не станем оборачиваться – мы и так в этом уверены.

2008

Десять лет без права переписки

Так совпало, что в то 8 Марта у нас с женою случился двойной праздник. В этот день мы начали жить вместе, и произошло это десять лет назад.

Мы готовились встретить эту дату неспешно и нежно и приближались к ней со спокойным сердцебиением людей, уверенных в своей силе и правоте. Внутри звучала легкая бравурная музыка. Весенний видеоряд, полный шумных машин и веселых дворовых собак, соответствовал настрою.

Но, как бывало с пленкой в кассетнике, что-то в движении застопорилось, звук поплыл, затем смолк. За два дня до прекрасной даты все вокруг начало расплываться, то теряя краски вовсе, то приобретая новые, но неприятные.

У нас начался грипп.

Эпидемия гриппа уже несколько дней шла по всему городу, и сотни воспаленных, со слезами на глазах людей встречались нам ежедневно в магазинах и в транспорте.

Мы были уверены, что нас минует. У нас же праздник, какой еще грипп? Но тут легкую заразу принесло из садика наше среднее чадо, и всего за день эта зараза своим длинным горячим языком облизала всю нашу семью. Я давно заметил, что детские инфекции – самые прилипчивые.

Чадо, впрочем, вскоре выздоровело, а нас с женою словно понесло мутным, розовым и жарким течением.

7 марта, еще не веря, что все так невесело, я пошел в банк напротив дома и снял десять тысяч рублей. На предстоящее веселье.

Пошатавшись, вернулся, стянул свитера и джинсы, упал в кровать.

Вечер прошел в вялой суете. Утро принесло такое ощущение, словно я проснулся в прокишшем рассоле, и этот рассол разогревают до кипятка.

В детской комнате у нас стоит двухъярусная кровать. С трудом умывшись, мы снова улеглись с женой – она на второй этаж, я на первый – и начали набирать температуру.

Детей согнали в большую комнату, где включили трехчасовой диск про Джерри и Тома. До сих пор в ушах стоит эта бодрая духовая музыка, каждый аккорд которой обрушивал в тот день мое сознание.

Набирать температуру оказалось делом вполне увлекательным. Провалившись в забытие какое-то вялое количество времени, я тянул руку к подоконнику, где лежал градусник. Замерял, отмечая, что – растет, и передавал градусник на второй этаж, жене.

К обеду наша температура перешла отметку 39,5.

Кашель стал напоминать звук иерихонских труб.

Возможности носоглоток вмещать столько вязкой и легковозобновляемой жидкости оказались просто потрясающими.

Я всерьез решил зафиксировать (для кого только?) процесс своего ухода в иной мир и стал дожидаться того момента, когда начнутся галлюцинации и полная потеря сознания.

Тем временем сорок восьмая история про Тома и Джерри завершилась, и дети, все трое, пришли требовать есть. У всех детей были длинные сопли, и они кашляли такими прожженными голосами, словно провели предыдущие – соответственно своему возрасту – год, два года и восемь лет в подzemелье, произрастая босиком в ржавой воде. Но температуры у них, к счастью, не было.

В общем, свои галлюцинации мне пришлось отложить. Неровной походкой я убрел на кухню, ни в одном шаге не отдавая себе отчета.

Я совершал множество неадекватных движений. Выяснилось, что использование газовой конфорки, нарезка хлеба, вскрытие пакета кефира, отварка макарон и т. п. за многие годы так и

не стали процессами, отработанными до автоматизма, и мне приходилось подолгу осознавать, зачем я стою здесь, посреди кухни, с ножом, окруженный рыдающими детьми.

Засовав в полубреду в цыплячьи рты что-то съестное, я отдал детям огромную пачку печенья, которое они вскоре равномерно распределили по всей поверхности дивана, неустанно копошась во всем этом крошечке.

Следующей встала жена, и я видел, как она с закрытыми глазами готовила детям лекарство и потом закапывала им лечебные капли в уши и носы, так и не открыв свои глаза, но ни разу не промахнувшись. Вернувшись, она упала без сил и лежала без движения.

Иногда дети приходили к нам и ползали по мне. Я лежал, накрывшись одеялом с головой и вцепившись в него горячими зубами, уверенный, что если я сейчас дыхнул бы, скажем, на цыпленка, то он сразу бы облысел и зачах.

Мы уложили спать детей в семь часов вечера и сами уснули первыми.

Так прошел день праздника.

Ночью я вскрикивал, а жена стонала, но детей это не беспокоило.

На другой день нам принесли лекарства.

Чтобы расплатиться, я пошел искать деньги в джинсах, те самые десять тысяч, что снял со счета на желанный праздник. Спустя полчаса поисков я понял, что деньги потеряны. Наверное, они выпали из кармана по пути от банка до дома. Меня несколько не удивил этот факт, хотя последний раз я терял деньги во втором классе, и это были пятнадцать копеек на проезд.

Глотая антибиотики, я вяло думал: «Это очень правильно... Мы прожили десять лет, которые были прекрасными...»

Их нельзя переписать набело, заново – это десять лет без права переписки... Но и не нужно, ни к чему... И десять тысяч кому-то на счастье – такая малая плата за десять лет...

В конце концов, может быть, нашедший их тоже болеет гриппом и ему нужны деньги на капли и порошки...»

Еще я думал про очищающий жар, про то, что в нем должно перегореть и выгореть все ненужное и случайное.

Выздоровление приходило медленно, словно издалека. И сейчас, когда я набираю этот текст, оно еще не пришло во всей полноте и силе.

Плыви себе, гриппозный кораблик, мы отдали тебе свою дань, говорю я.

А дети так и не заболели. Видимо, у них не накопилось никаких долгов.

2007

О красоте, или Жизнь по отвлеченным понятиям

Казалось бы: красота – понятие широкое, и не всегда ясно, что именно оно означает.

Когда великий Федор Михайлович говорил о том, что эта самая красота спасет мир, он, наверное, меньше всего имел в виду красивых людей и красивые виды.

Речь шла о красоте поступка, о красоте мужества и женственности, о красоте веры, прозрачной и честной.

Добро красиво, милосердие красиво, подвиг красив.

Красива молитва, честность красива, нежность красива.

Мир преисполнен красотой как счастьем. Другой вопрос, что красота, наверное, никого уже не спасет.

Со времен позапрошлого века мы научились использовать красоту так, как нам удобно. Выворачивать подлость и пошлость наизнанку, делая красивыми любые слабости и непотребства.

В свое время красота была бесконечно дальним центром мироздания – и к этому центру стремилось любое страстное и честное сердце. Наивысшую точку красоты, ее средоточие, можно было называть гармонией. Мир искал гармонии.

Сегодня красота стала служанкой человека с его бесконечным стремлением наделить благородством и смыслом любой свой неприглядный поступок.

Гармоничное существование, гармоничный взгляд на вещи, гармоничное бытие сплошь и рядом подменяются чем-то иным.

Для современного человека гармония – это комфорт.

Нынешний гармоничный взгляд на вещи – это устойчивая привычка видеть и знать то, что хочется видеть и знать, и отказ от знания о вещах трудных, сложных и неоправданных.

Подлинность, которая, безусловно, является главным содержанием и кровеносной системой красоты, стала несколько непристойной, стыдной, странной.

Подлинное милосердие почти не слышно, почти затеряно среди пышных и пошлых жестов людей очевидно и насквозь немилосердных.

Человеку, совершившему подлинный подвиг, проще умереть три раза подряд, чем обрести внимание признательных ему людей. Подвига уже нет. Он стал, по сути, неполиткорректен – оттого, что оскорбляет человека, не склонного к подвигам.

Естественно, нет и национальных героев. Вернее сказать, в национальных героях ходят редкие проходимцы, которым еще неизвестно где место.

Подобно тому, как гармония с извлеченной сутью стала комфортом, так и подлинность заменил имидж.

Имидж – это подлинность с вырезанными кишками, сердцем и легкими. Остался манекен – с приклеенной улыбкой, с пустыми стеклянными глазами... Но если к нему приглядеться внимательно – сразу заметишь, что у него как минимум нет пупка, а глаза не моргают.

Подлинными теперь кажутся грязные и глупые шуты в политике и в культуре.

Мир все больше становится триединым, и наше нынешнее триединство – это имидж, комфорт, гламур. Они неразрывны и взаимосвязаны.

Имидж и комфорт создают гламур.

Гламур и комфорт делают имидж.

Где тут, в этих тупиках, под нарисованными эмульсией небесами, протиснуться красоте, как ей проявиться на свет Божий?

Красота все не приходит, все никак не наступает.

Как ей протиснуться в наш новый, чудесный мир? У нас тут и так вокруг много приятных и гладких на ощупь вещей.

А отвлеченные понятия занимают слишком много места. Отвлеченные понятия занимают слишком много сердца. Отвлеченные понятия заставляют слишком часто дышать и при этом все равно иногда задыхаться от непостижимости бытия.

Мы изгнали их. Мы желаем жить конкретно. По конкретным понятиям.

Но, изгнав отвлеченные понятия, мы отлучили себя от красоты.

Красота неконкретна. Ее нельзя сформулировать, расфасовать, а потом использовать по мере необходимости.

Надо отвлечься от конкретных понятий. Слишком много серьезных людей вокруг. Слишком мало красивых.

2007

Русские люди за длинным столом

Русский человек и есть та глина, в которую до сих пор легко вдохнуть дар, дух и жизнь. Народ – глина. Когда в него вдыхают живой дух – он становится нацией.

Я встречал несколько тысяч русских людей в самых разных ситуациях и в самых разных местах.

В деревне, где родился и куда возвращаюсь каждый год. Там, в расстегнутых рубашках и серых трико, с черной щетиной, лишенные запахов тела, подобно святым, но с легким перега-ром, конечно, бродят рано постаревшие мужики. Каждую зиму они срезают провода от моего дома до ближайшего столба; каждое лето я приезжаю и за бутылку водки покупаю у них эти провода, но, естественно, они продают мне их как случайно завалившиеся, не мои и специально для меня припасенные. Это у нас такой обряд.

Я приезжаю свежим комариным вечером, нахожу мужиков за просмотром телевизора, где уже в прошлом году не было изображения, зато есть звук. На их столе стоит стеклянная рать.

Привожу их к своей избушке на машине (провода они бросают в багажник).

Пьяные, они лезут на крышу, верней, лезет один из них, а второй стоит внизу, подавая, когда просят, провод, пассатижи и что-то там еще.

Не сбивая облепивших черную шею комаров, рассказывая мне о том, как хорошо будет этим летом, как зимой волки заходили в деревню, как дворовый пес ушел в лес и вернулся, притащив в зубах задушенного зайца, сивый мужичина крепит провода, переступая по крыше босыми ногами.

Потом провода тянут к столбу, притаскивают откуда-то лесенку, по которой я бы не рискнул передвигаться, даже если б она лежала на земле. Не переставая разговаривать со мной, размахивая в воздухе оголенными концами моих прошлогодних проводов, задевая ими провода под током, тем самым выбивая жуткие искры и нисколько этого не пугаясь, мне устанавливают электричество.

Я отвожу мужиков домой, даю им водки. Я привез ее с собой, мне не жалко.

Почти все их поступки незлобны и скорей веселы. Большинство их суждений о природе и природе вещей удивительно метки.

Деревня отслаивает речь. Отшелушивает. И еще – интонацию и мимику.

Каждую весну я тоскую по этим мужикам.

Еще я видел русских людей в университетах, где похожие на неопрятных птиц студенты громко шумели меж собой, и мне казалось, что ни один из них никогда не станет нормальным мужчиной. Но потом, спустя годы, я их встречал, и все они легко несли свое достоинство, свои новые профессии. Черные неопрятные птицы разлетелись неведомо куда, осталась твердая посадка головы, взгляд, жест, ответственность.

Я очень редко встречал плохих русских людей. Наверное, я их не знаю вовсе.

Я не могу их вспомнить даже в ночных клубах, где работал – назовем это громко – вышибалой и куда уходил, выпив стакан спирта, чтобы сберечь до утра немного нервов. Многие приходившие туда вели себя дурно и пошло, они всякий раз норовили обидеть друг друга, меня, моих напарников, глаза их были подлы, и руки – нехорошо суетливы. Но я подозреваю, что, если б обстоятельства сложились иначе, я вел бы себя точно так же, как они.

Это были самые злые и подлые времена новой истории России; и многих из того поколения уже нет в живых, иные из них стерлись до неузнаваемости, но тогда они еще были в своей мрачной и неожиданной им самим силе.

И я неизменно чувствовал, что мы останемся с ними одной крови, даже если пустим ее друг другу.

И потом: их речь. Их повадки.

(Я так много говорю о повадках и речи, потому что беру на себя смелость судить о людях по внешним признакам – в конце концов, никому из нас не придется хотя бы по разу подняться со всеми знакомыми русскими мужиками в атаку, чтобы понять каждого. Будем надеяться на собственную интуицию и наблюдательность.)

И я говорю: их повадки. Их речь. Их разворот головы. Когда одна фраза, какое-нибудь с виду вполне простое, с зачищенными эмоциями: «А что тебе не нравится?» – заставляет вздыматься волоски на шее.

Подсмотрел недавно такой диалог:

– А где ты будешь жить, если еще раз мне слово скажешь, ты знаешь?

– Где?

– Нигде. Понял, Вася?

Достоинства в этом не меньше, чем в словах «...русские после первой не закусывают...».

В минуты, когда с самыми тяжелыми посетителями ночных заведений мне приходилось общаться нормально, я с удивлением думал, что нас мало что разделяет.

Еще перед моими глазами прошли тысячи «срочников» и «контрактников», суровые солдаты, бодрые бойцы спецназа, штабное офицерье (можно и так – офицерская штабня), несколько раз я вблизи видел настоящих генералов. Красные мужественные головы на коротких шеях.

Русские люди на Кавказе несли в лицах хорошую, не показную деловитость и совершенно невыносимую здесь, простите меня, чистоту от постоянного осознания присутствия смерти, которая может случиться в любой день.

Еще я встречал несколько тысяч национал-большевиков и знаю добрую сотню из них, осмысленно пошедших в тюрьму.

Русские парни из породы новых революционеров веселы и горячи ровно в те минуты, когда знают, что скоро их свобода будет прервана на месяцы и годы.

Я знал рецидивистов, оперов, шоферов, грузчиков, профессоров, политиков, бизнесменов, миллионеров, нищих. Я работал в милиции, в рекламной службе, в магазине, в газете, на кладбище и еще где-то.

Мужество и терпение, жалость и злость – меж этих координат помещен русский человек.

Шесть лет я ходил в форме и брился два раза в день.

Однажды я сжигал со своей камуфляжной братвой загородные, при городской помойке, поселения бомжей. Бомжей было несколько сот, у каждого был свой домик, свой шалаш, своя посуда, и даже бритвы, и даже зубные щетки с редкой серой щетиной. От домика к домику были тропки: они ходят друг к другу в гости, угощая тем, что нашли на помойке. В углах их шалашей висели картинки из старых журналов: цветы, вожди, иногда машины.

Когда мы жгли их поселение, они плакали.

Еще я бывал на Рублевке, в загородных особняках губернаторов и миллиардеров. И даже в Кремле раз. Там тоже живые люди, они тоже плакали бы, если бы...

Я никак не могу вспомнить человека, о котором мог бы сказать: это безысходная гнида, такую можно только убить. Любой из встреченных мною был яростен либо в своей дури, либо в своей жестокости, либо в своей самой последней подлости. Таких людей хочется беречь и холить.

Нет, безусловно, кого-то можно убить, но почти всегда стоит обойтись и без этого. Пусть все живут.

Ощущаю с ними родство.

И мне кажется, что русских людей можно менять местами, потому что все они удивительно похожи и всякий раз окажутся на своем месте, куда бы их ни поместили.

Иногда я представляю, как все мы, кого я знал, сидим за деревянным столом, – и мы так хорошо сидим, знаете.

Тяжела моя родня, но пусть идут к черту все, кто говорит, что нет крови и нет почвы. Есть кровь, и почва, и судьба. И речь, пропитанная ими.

Потом я работал политическим, как нынче выражаются, технологом, осмысленно и без угрызений совести менял одну за другой почти все партии из присутствовавших ныне в парламенте и сначала с ужасом, а потом с удовольствием понял, что все они одинаковы и люди, находящиеся в них, – одинаковы. Это обычные русские люди.

Мне ненавистно положение вещей, а не положение людей: тех или иных людей во власти.

А до людей мне все равно. У меня нет врагов. Есть несколько упрямых в своей алчности людей, и есть невыносимые дураки, но где нет дураков...

В любом случае в России, наверное, уже не будет настоящей гражданской войны.

Ее так долго не было, что истины стали едины для всех русских людей, вот о чем я говорю. В последние времена мы слишком мало отличаемся друг от друга, чтобы истово ненавидеть.

Помню, в середине и в конце 1990-х годов мне дико хотелось убить, физически уничтожить нескольких человек из числа – скажем условно – либералов, либеральных политиков, либеральных журналистов. Мне казалось, что они изо дня в день уничтожают то, что составляет меня, и мириться с их существованием нельзя.

Теперь я смотрю на этих людей почти с нежностью.

Они – одни из немногих, охраняющих то, что крепит и меня.

С ужасом думаю: а если бы убил тогда?..

Притом что либерализм ненавижу по сей день как чуму.

Еще я много времени провел в компании писателей; мы выпили удивительное количество вина.

Там был Сергей с черной наглой башкой, вызывающе красивый, вызывающе талантливый, взрывной, импульсивный, жадный до жизни, ратующий за социализм, за любое буйство и за драку.

Там был Дима из Петрозаводска, который написал несколько гениальных рассказов, в том числе про муху и янтарь. Он ненавидит самое слово «социализм», первым синонимом которого склонен видеть слово «мерзость». Он из того поколения, что осваивало распавшуюся советскую реальность, свободно предпринимая те или иные не всегда законные действия.

Там был замечательный Роман, странно близкий и Дмитрию, и Сергею, мрачный и веселый одновременно.

Там был Илья, который жаждет описать Алтай, заселить его ведомыми и неведомыми людьми; и когда мы спорили о национализме, Илья призывал нас навсегда забыть эти слова и никогда никого не делить.

Там был Денис, который говорит с грузинским акцентом, он вырос в Грузии. Денис все время обещает взяться за оружие, если кто-то придет к нему в дом, чтобы разделить его имущество.

Три года мы разговаривали и кричали иногда, чтобы я понял в конце концов, что мы почти неразличимы. Что у нас одни и те же слова, которые мы произносим в разной последовательности, и лишь это нас пугает.

Народ, воистину, данность в современной России. А нация – воистину – задание.

Но задание не для всех. Лишь для тех, кто в который раз рискнет взять на себя ответственность и артикулировать изначально понятное всем.

Задача почти невозможная, но начать стоит.

Просто потому, что никто, в сущности, не против и все уже готовы.

Я хожу по нашей земле с тем странным ощущением, когда тебе отзывается все вокруг тебя. Наверное, так ходят лесники по любимому лесу.

2007

Привиделось и прислышалось

В их стыдных для русского слуха именах слышна суть их характеров.

Горбачев... В народе его называли Горбач.

На первый – отстраненный – взгляд «Горбач» звучит строго, даже злобно. Скажи: «Горбач» – и представляется злой, с кривой рожей мужик, бесноватый и дурной. Но дело в том, что эта фамилия больше имеет отношение к горбуше, к рыбе из рода лососей, или к рыбе горбыль (южное наименование рыбы ласкирь).

Вспомните его лицо, закройте глаза – и увидите большеголовую рыбу со спокойным, медленным взором, вяло повиливающую хвостом, равнодушную к тому, что кто-то жрет ее семью, ее соседей, ее деток. Впрочем, вялость ее обманчива: она с легкостью уйдет от крючка, из сети и появится чуть позже – все такая же спокойная, открывающая рот, откуда исходят бессмысленные бульки.

Рыба эта мечена, то ли на боку ее, то ли на голове кляксой расплылось странное пятно. И когда окрестные рыбы сплываются посмотреть на меченую невидаль, она – не смотри, что вяла и туповата – начинает красоваться, поворачиваться разными сторонами. Горбуше кажется, что ею любуются.

Такую рыбу хочется выловить и бить ее веслом. Чтоб не вострепелась, не ожила, не выпрыгнула из лодки, не ушла в глубину.

В фамилии Ельцин слышен звон бубенчика, повисшего над головой тупого, наглого и дурного мерина, завезшего свою телегу в лес, в непролазные дебри, в безысходную темь. Мерин скалит зубы, косит белым бессмысленным глазом и прет куда-то, не слыша крика проснувшегося возницы, плача детей, едущих в телеге...

Упрямый, беспощадный мерин, он ждет, что возница его остановит, слезет и даст мозолистым кулаком ему по морде, да несколько раз. А потом развернет и будет стегать кнутом – до самого дома. А дома зловредный мерин издохнет, и его выкинут на помойку, оттащат туда за ноги, и будут стаи мух виться над ним, откладывая в его большом теле свои личинки.

Слово «путин» в русском языке означало ломотную боль в пояснице, от которой заговаривали, кладя поперек порога и присекая кремнем. Ломотная и нудная боль, которая распространяется на все тело.

Еще фамилия Путин вызывает ассоциации с паутиной. В паутине висит длинная моль или еще какое-то тусклое шершавое насекомое, усохшее и бледное, с белыми крыльями.

Если едешь на мерине с рыбалки, тоскливый, полупьяный, ленивый, везешь в телеге пойманную глупоглазую меченую рыбу, в лесу эта липкая паутина обязательно облепит лицо, бледное насекомое повиснет на носу, семья пауков ползет в уши и за пазуху, и всепоглощающая брезгливость остановит сердце на мгновенье, заставит судорожно вытирать лицо, прочищать уши. Тем временем мерин понесет черт знает куда, завалишься от его скака на спину, ожившая рыба ожжет хвостом, порежет плавниками лицо. В спину вступит жуткая опоясывающая боль, так что ноги отнимутся.

Вот тогда – недвижимый, напуганный, измазанный в собственной крови, в рыбьей чешуе, в паутине, – ты и услышишь волчий вой...

2001

Отборный козий изюм

Начнем с того, что Татьяна Толстая – замечательный русский писатель; на том и завершим.

Перейдем сразу к следующему пункту: к ее публицистике. Это совершенно другой разговор, литературы вовсе не касающийся.

Читая публицистику Татьяны Толстой, вы не встретите ни одного нормального русского лица. Почти все русские люди, описанные Толстой, выглядят ущербно. Иных она, похоже, не встречала.

Первая учительница юной Тани – Валентина Тимофеевна – сушая мегера, «орет, стуча костяшками пальцев», всем своим видом корежа нежное детское мироощущение. Не повезло с первым учителем, всякое бывает. И с завучем не повезло – завуч появилась на той же странице – «толстая тетка... не человек, а слипшиеся комья». И с одноклассниками: на переменах Таню заставляли ходить вместе с Володей, и она держала «его потную лапку, усыпанную бородавками». Таня просто бредила от брезгливости, боялась, что «...скоро весь класс, весь “коллектив, все дружные ребята покроются бородавками...”» (эссе «Женский день»).

Толстая, без сомнения, – адепт индивидуализированного общества: стоит сразу обратить внимание на то, с какой брезгливостью, обернув, как сельдь, в кавычки, она употребляет слово «коллектив».

Опустим школьные годы – все-таки девочка из хорошей семьи, утонченное восприятие, очевидное самолюбие, – в детстве к таким детям явно необходим индивидуальный подход. Но вот она повзрослела и, казалось бы, должна была стать чуть спокойнее. По крайней мере, хоть изредка видеть в соотечественниках хорошее, симпатичное. Не видит.

Листаем далее публицистику Толстой. Смотрите, вот появился некий «гражданин», естественно, он «по-плебейски» «пялится» куда-то (эссе «Лилит»). А вот «симпатичная бабушка с гноющим глазом» (эссе «Ряженые»), далее Татьяна ее так и называет – «гнойная бабушка».

Славная женщина – Татьяна Толстая, верующая, очень любит об интеллигенции и ее отличительных признаках поговорить. Вслед за «гнойной бабушкой» появляется «румяная сумасшедшая старуха», мимо пробегает. Других бабушек Толстая в «нашем» (как она любит говорить) народе, видимо, не замечала.

Особые чувства питает Толстая к детям. Вот она заприметила ребенка-попрошайку, играющего на баяне, – «сажа и сопли образовали на личике черную корку» (эссе «Ряженые»). Уставший от домогательств Татьяны и ее друзей-голландцев, снимающих нищету на камеру, мальчик пытается убежать. Толстая зорко подмечает, что он двигается «как краб». Баян тяжелый, понимаете ли. А вообще, как еще могут двигаться дети, взращенные «гнойными бабушками» и отцами-«плебеями»? Только «как крабы». Естественно, в то, что мальчик нищий, Толстая не верит. Нарочно, поди, измазался соплями, сажей да играет себе в двадцатипятиградусный холод на баяне. Околеет за доллар (который, к слову, Татьяна со товарищи так ему и не дали).

Но веру в «свой» народ Татьяна не теряет.

Много и с удовольствием Толстая философствует на тему гиблого и бестолкового российского менталитета в эссе «Вот тебе, баба, блинок!». Текст заканчивается следующим фантазийным пассажем: «Босой оборвыш долго смотрит, разинув рот, в освещенные окна, за которыми нарядные дети водят хороводы вокруг рождественской елки. Кто знает, о чем он думает в этот момент. Может быть: “Эх, никогда мне так не повеселиться!” А может быть: “Буду трудиться в поте лица – тоже стану водить хороводы”».

Сколь велика сила художественного слова...

Толстая безжалостно поместила выдуманного ею героя посреди зимы голыми ногами в снег (оборвыш-то – «босой»!). Ей самой и ее детям явно не приходилось голыми пятками топтать ледяной наст. Но поражает другое! По мнению Толстой, «босой оборвыш», глядя на веселящихся детей, должен понять, что только трудом заслуживают такую радость. Я так полагаю, девочка Таня уже с детства «трудилась в поте лица», зарабатывая себе деньги на елку и рождественские подарки.

Только вот где трудиться этому «оборвышу»? Сколько, кстати, ему лет – шесть? девять? четырнадцать? Куда ему пойти, по мнению Татьяны? В порно-бизнес? Или стекла иномаркам мыть? Ну что вы. Необходимо идти на нормальную работу. Сейчас, слава богу, детский труд разрешен с четырнадцати лет. Это тебе не советский тоталитаризм.

Глядишь, годам к тридцати «оборвыш» и заработает себе на хоровод. Вот тогда и ухорожится до полного счастья. А пока ему писательница велела смирно стоять и любоваться на освещенные окна, постигая сущность бытия...

Читая этот восхитительный отрывок, я, вдохновленный Толстой, так и вижу продолжение описанной сценки. Открывается окно (душно в зале), и пред измазанным соплями и сажей личиком оборвыша появляется хорошее, тяжелое лицо писательницы. Она видит стоящего на цыпочках, дрожащего, наверняка уже простуженного мальчика и говорит: «Холодно? Голодно? Трудись в поте лица, и все тебе будет. Кто работает, тот не мерзнет».

Окно закрывается, и слышен хорошо поставленный голос Татьяны: «Ребята! Прекращаем игры! Сейчас будет подан десерт!»

После вышесказанного о публицистике Толстой вообще не следовало бы писать – этим пассажем она сама поставила себе диагноз, но мы все-таки еще сделаем несколько горестных замет.

Татьяна Толстая – барыня. Она является персонажем то ли Гоголя, то ли Чехова. Где-то у классиков прощуршала платьем эта надменная дама с поджатыми губами, дала пощечину подвернувшейся дворовой девке... Такой и запомнилась. И вот вернулась, неожиданная. Глаза насмешливые, голос ледяной. Уму-разуму учит темный люд, грязную сарынь.

Сарынь смертельно провинилась перед Толстой в 1917 году. Согласно Толстой, революция – непростительный народный грех. До сих пор «наш» народ кнута за «учиненные непотребства» просит – вырывается где-то у барыни.

Представления Татьяны Толстой о дореволюционной эпохе как о «золотом веке» (так называется одно из эссе писательницы) малообоснованны, надуманны, литературны.

Вот как начинается вышеупомянутое эссе «Золотой век»: «Всем русским известна знаменитая ленинская фраза: “Каждая кухарка должна уметь управлять государством”. Интересно, что он, ни разу в жизни не сваривший себе крутого яйца, мог знать о кухарках?..»

Здесь Толстая совершает подлог, поскольку приведенных ею слов Ленин никогда не произносил. В работе «Удержат ли большевики государственную власть» он писал: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством». Смысл несколько иной, согласитесь? Ленин не говорит, что «должна». Напротив, он говорит «неспособна».

Заметьте, что цитирование Толстая предваряет снобистским: «Всем русским известна... фраза...» Может, кому и известна, но вот не вам.

«А между тем в России была женщина, – продолжает Толстая, – чьему умению управлять своим маленьким государством Ленин мог бы позавидовать».

Далее Толстая подробно описывает таланты Елены Молоховец, составительницы кулинарных книг. Попутно Толстая замечает, что «сам стиль жизни, воспринимаемый Молоховец как нечто само собой разумеющееся, давно канул в прошлое...», что перечисляемые кулинаром рецепты и советы (сытный завтрак, обед из четырех роскошных блюд и т. д.) были «рассчитаны на семью с обыкновенным аппетитом, среднего достатка».

Пафос статьи, состоящей из перечислений изысканных блюд, прост: вот-де как жили люди в старое время, да большевики пришли, отняли балык и устрицы у простого люда со «средним достатком».

Это похвально, что Татьяна изучает историю рубежа XIX–XX веков (времени «либеральных реформ и надежд», как нежно подмечает писательница) по кулинарным книгам. Мало того, она уверяет читателя, что и русские классики, в числе которых и Чехов, и Щедрин, тоже достойно описывали те сытные годы, тот «золотой век».

Оторопь берет меня, читатель. А может быть, Толстая не знает русскую классику? Страшно поверить. Возьмем упомянутого ею Чехова, который, согласно Татьяне, «самозабвенно» описывал «поглощение еды», процесс, «буквально переходящий в оргию». Цитирую: «Николай, войдя в избу, увидел <...> с какою жадностью старик и бабы ели черный хлеб, макая его в воду... По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был обгрызанный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы; было противно пить...» «И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься!» – восклицает герой Чехова ниже.

Это повесть «Мужики».

Упоминает Толстая и о «бесчисленных мемуаристах», которые отмечали в своих трудах сытность российского стола. Приведу цитату лишь из одного мемуариста начала прошлого века. А. Н. Энгельгардт, «Письма из деревни»: «Наш мужик-земледелец ест самый плохой пшеничный хлеб с костером, хлебает пустые серые щи, считает роскошью гречневую кашу с конопляным маслом, об яблочных пирогах и понятия не имеет...»

И не ведая о вышепротитированном, в пастельных тонах описывает Толстая российское житие накануне революции: «... и нива колосилась, и трудолюбивый пахарь преумножал добро, и купец торговал мануфактурой и баранками, и Фаберже нес яички не простые, а золотые, и воин воевал, и дворник подметал, и инженер в фуражке со скрещенными молоточками строго и с достоинством всматривался в будущий прогресс... А русский чай был так хорош, что его поддельвали завистливые иностранцы. Смотришь старые фотографии: боже! Богатство-то какое!»

Вот видите, к кулинарной книге еще и фотографии прибавились. Полный набор непредвзятого историка.

Пассаж Татьяны Толстой о «Фаберже» и о «пахаре» автор готов продолжить.

Итак, по поводу житья-бытья. Продолжительность жизни русского человека до революции была ни много ни мало 32 года (примерно столько же жили лишь африканцы – у них, видимо, тоже был «золотой век»). Согласно дореволюционной статистике, русские крестьяне потребляли продовольствия на 20,44 рубля в год (для сравнения: английские – на 101,25 рубля). К слову, о «нивах». Все развитые страны, производившие менее 500 кг зерна на душу населения, зерно ввозили. Россия, где урожай был в среднем около 450 кг зерна на душу, – зерно вывозила. Что, собственно, и дало основания нынешним либералам, в том числе и Татьяне Толстой, утверждать, что дореволюционная Россия кормила Европу хлебом. Да, кормила кое-кого. Только после этого большинство населения России кушало, как это у Чехова описано. А остальные – как у Молоховец, не спорим.

Я отдаю себе отчет, что Толстая этого не знает и если узнает – не поверит, потому что ей не хочется в это верить. Ей хочется верить в дореволюционную русскую аристократию, которая якобы «старалась как-то смягчить разрыв между собой и простыми людьми. Мучаясь комплексом вины, заигрывала с народом как могла... старалась идти на сближение, простить пороки (какая прелесть! у аристократии, видимо, не было пороков, только у „мужиков“. – *Авт.*), закрыть глаза на очевидную неблагодарность (еще лучше! никакой благодарности у этого быдла за самый лучший чай, пропахший рыбой, за лебеду, а также за вывезенный, а после пропитый в парижских кабаках аристократией хлеб. – *Авт.*), равнодушие и прямую ненависть».

В общем, ну не свинья ли народ? Столько стараний во имя него, а он ненавистью платит.

В эссе «Купцы и художники» Толстая с удовольствием цитирует Василия Розанова: «Вечно мечтает; и всегда одна мысль: как бы уклониться от работы (русские)».

Розанов пишет о мужиках. Причем пишет как барин. Своим барством он явно гордился. Ничего страшней для Розанова не было, когда дворники смотрели на него «запанибрата». «Я барин. И хочу, чтобы меня уважали как барина», – так он говорил.

Но разница между Розановым и Толстой все-таки есть. Розанов, записав свою, в сущности, верную мысль, не пытается ее распространять. У Толстой же в конечном итоге все сводится к тому, что русский народ работать не умеет и не хочет (эссе «Купцы и художники» посвящено мучительному становлению в России «нормального» рынка, за который так ратует писательница, без усталости попукающая «косное» население страны).

Памятуя о пассаже Толстой, посвященном Ленину, не умевшему варить яйца, мне хотелось бы спросить Толстую: а что она, барыня, ни дня не занимавшаяся крестьянской работой, может знать о деревне? Поди, только то, что корову доят двумя пальцами, а когда курица несет яйца, ей больно (так Есенин писал о Гиппиус, мировоззренческое родство которой с Толстой явно).

Имеет ли Толстая хоть какое-то представление о том, как складывался народный характер в нашей крестьянской стране?

Россия тотально отличается от Западной Европы, от Австралии, от Америк, от Азии. Любой географ объяснит Толстой, что Россия – самая непригодная для жизни страна. В среднем по России выход растительной биомассы с одного гектара более чем в два раза ниже, чем в Западной Европе, и почти в пять раз ниже, чем в США. Чтобы пропитаться, чтобы согреться, русскому крестьянину приходилось вкалывать в несколько раз больше, чем греку, французу или китайцу.

Даже в Ирландии и в Англии скот пасется круглый год, знает ли об этом Толстая? А в России – три месяца. А потом скотину надо кормить. А чтобы ее кормить, нужно все лето косить. И по три раза в день сено ворошить. И собирать сено, если пошел дождь, а то сгниет и весь труд насмарку. А потом снова разбрасывать. Прошу фермеров: возьмите писательницу на лето в деревню, пусть она поймет суть русской поговорки «летний день зимний месяц кормит»!

Русский человек мечтает и желает уклониться от работы только потому, что он много веков работал так, как никакому немцу не снилось. Русские освоили огромную, в основном холодную и заснеженную часть суши, и моря вокруг этой суши, и ледники, и космос над ней, и три похода из Европы отразили, – подобных достижений ни один народ мира не имеет. Для любой нации хотя бы один подвиг из русской истории стал бы поводом для вечной гордости.

Толстая тем временем неустанно сетует, что русские «хотят работать, как в Монголии, а жить, как в Леоне». Ну ладно, уговорила, русские не хотят работать, а Ленин не варил яиц и даже не знал, кто их несет. Но разве Толстая работала в Монголии? Спросите у Толстой: чем, по ее мнению, преимущественно занимаются жители этой страны? Она и не знает, клянусь вам.

Просто, преподавая литературу в американском колледже, она почему-то решила, что может судить о чем угодно, унижаясь о целых странах. И о «своей» в первую очередь.

До какой степени неприязни к народу надо дойти, чтобы написать о русских: «Верят в крик, но не верят в ум. Вообще две вещи не всегда пользовались почетом на Руси – ум и труд, что сказывается и в фольклоре, в пословицах, и в жизни». Я мог бы привести Толстой, явно имеющей о русском фольклоре весьма странные представления, сотни пословиц и поговорок, воспевающих ум и труд. Но надо ли ей это? У нее уже есть «свое мнение».

В свое время Толстая заметила брезгливо: «Всегда меня удивляла песня “Дубинушка”, которая уже начинается с презрения, словно со скривленными губами поется: “Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину, а наш русский мужик, коль»

работать невмочь, так затянет родную „Дубину“...” Слушаешь и думаешь, почему же ты, голубчик, сам не изобретаешь за машиной машину?»

(Прошу отметить это барственное «голубчик»: «Что ты ноешь, мужик?» – «Хлеба хочу!» – «А ты работай лучше, голубчик!»)

Умные люди заметили Толстой, что процитированный ею текст сочинил не народ, а такой же барин, как и она, не мешало бы писательнице знать об этом – филолог все-таки.

Кроме того, свои претензии Толстой стоило бы направить именно к «аристократии». Уж коли ей так милы европейские примеры, может быть, Толстая удосужится полистать справочники да узнать, кто там изобретал «за машиной машину»?

Говоря о том, что наша страна «наконец-то стала поворачиваться к нормальному рынку» (эссе «Купцы и художники»), помнит ли Толстая о том, что, по официальным данным Минздрава РФ, в России более двух миллионов наркоманов, а наркооборот достигает миллиарда долларов в год? О том, что в России два миллиона триста тысяч больных туберкулезом (ситуация сравнима только со временем Гражданской войны, последовавшей, напомним, за Первой мировой)? О том, что в России сейчас один из самых высоких уровней смертности в мире?

В Советской России «был такой популярный лозунг: “Мир хижинам, война дворцам”», – отмечает проходя в одном из эссе Толстая и продолжает: «Дворцы разрушили, живем в хижинах. Хорошо».

Во-первых, лозунг этот придумали не большевики 17-го года, а французы во время Великой французской революции. Писательница об этом, как и о существовании автора «Дубинушки», наверняка не подозревает. Во-вторых, процитированное – это еще одна трескучая и бессмысленная фраза, вполне в духе Толстой. Сам факт, что все дворцы были разрушены, мягко говоря, сомнителен. Да и жило в этих дворцах (до революции) процента полтора населения России, не мешало бы об этом помнить.

А то у Толстой получается, что народ после революции из дворцов в хижины переехал. Жили после революции и в хижинах, и в рабочих кварталах, и в бараках, бывало, но трущоб не было и бездомных тоже. Это важно.

Зато сегодня только через Москву ежедневно мигрируют двадцать восемь тысяч беспризорных детей. Кроме того, по России бродит многомиллионная популяция бомжей (по данным МВД, до четырех миллионов человек). У них ни хижин, ни дворцов. Тоже «хорошо»?

Толстая, как мы помним, любит писать о босых и замерзших детишках, так я ей готов статистических данных подкинуть, дабы она могла ими украсить свою следующую оду либерализму: ежегодно в России до трехсот тысяч детей рождаются вне брака; шестьсот тысяч воспитываются в неполных семьях; полтора миллиона детей не учатся. Если в 1990 году на десять тысяч детей РФ было 43,1 инвалида, то в 1999-м – уже 205,6... И эти жуткие показатели растут.

Рассуждения Толстой основываются исключительно на эмоциях. Нет, никто не просит от нее цифр и ссылок, она же не экономист и не социолог, никто и не надеялся на это. Но когда Татьяна Толстая с подкупающей непосредственностью и словно все это ей самой впервые пришло в голову утверждает, что «Робинзон Крузо» – это гимн буржуазности и именно от этого героя ведет свой род нынешний буржуа, становится... весело становится, потому что постулаты буржуазной робинзонады восходят к XVIII веку и давным-давно, после серьезного разговора серьезных людей (не чета нам с Толстой), признаны не соответствующими действительности. Из какого сундука модная (без кавычек) Толстая вытащила свои одежды?

Говоря о литературе, Толстая тотально пристрастна. Если книги не вмещаются в готовые идеологические схемы, проще говоря, если эти книги написаны советскими писателями, то лучше их просто не читать.

«Когда же навалилась школа, пытаюсь накрыть нас с головой ватным матрасом советской и одобренно-революционной литературы, – белоглазый Фадеев, подслеповатый Черны-

шевский, слепой железнодорожный Н. Островский и тихо поднятые щукари, – к тому времени я уже наловчилась быстро схватывать содержание непрочитанного и ловко излагать незапомнившееся», – самодовольно повествует Толстая в эссе «Переводные картинки».

С тем же видом «двоечники» рассказывают друг другу, как они на уроке закурили под партой.

Отметим, как Толстая останавливается на зрении писателей – то «слепой», то «подслеповатый». Видимо, она сама хорошо видит.

Что касается отношения Татьяны Толстой к советской литературе, то комментарии здесь излишни. Ну, не читала она ни Михаила Шолохова, ни «Железный поток» Александра Серафимовича, ни «Партизанские повести» Всеволода Иванова, – какой с нее спрос.

Как ленивые и косные читатели выбирают книги только с картинками или с большим шрифтом, так же Толстая отбирает то, что близко ей по духу.

Живой пример: в эссе «Переводные картинки» Татьяна Толстая замечает, что «...про бордели и кокоток ведь читать интереснее, чем про шахты и закопченных шахтеров...». Отметим вскользь, что после «босых оборвышей» никакие «закопченные» шахтеры уже не удивляют. Что же касается читательских приоритетов Толстой – ее мнение разделяют многие, искренне считая, что проститутки привлекательнее рабочих. Но смотрим дальше – в эссе «Купцы и художники» та же Толстая пишет: «В ранней юности я соблазнилась прочесть роман Золя “Дамское счастье”, естественно, ожидая альковных подробностей... Оказалось, это не про любовь, а про универмаг, про новый, прогрессивный, капиталистический способ торговли. Оказалось, это интереснее любых поцелуев».

Вот ведь как получается у Толстой: про «чумазых» рабочих – это тоска, а о прогрессивных предпринимателях – просто наслаждение. На вкус и цвет товарищей нет, это так, но ведь Толстая филолог, откуда такая нездоровая претенциозность? Смею уверить, что так называемые производственные романы «Время, вперед!» Валентина Катаева или «Соть» Леонида Леонова не менее интересны, чем Золя.

«Что ты пристал к Толстой? – сказали мне как-то. – У нее свое мнение, у тебя – свое».

Я согласен, что у нее свое мнение. Более того, я знаю, что ее мнение стоит. У самой же Толстой и вычитал (эссе «Квадрат»): «“Десакрализация” – лозунг XX века, лозунг неучей, посредственностей и бездарностей. Это индульгенция, которую одни бездари выдают другим, убеждая третьих, что так оно все и должно быть <...> что каждый имеет право судить о каждом, что авторитетов не может быть в принципе...»

Не знаю, кто и когда выдал индульгенцию самой Толстой, но судит она обо всем подряд легко и смело.

Ну почему, почему она не остановится на литературной критике, на том, чему она хотя бы училась? Так была бы простибельна ее неприязнь к Чернышевскому! Но нет, собственно литературных рецензий в ее публицистике минимум. Походя в эссе «Квадрат» она замечает, что, «числясь “экспертом” по “современному искусству” (здесь кавычки скромно расставила сама Толстая. – *Авт.*) в одном из фондов в России, существующем на американские деньги», она раздает премии художникам, расставляющим пустые рамки вдоль реки, «группе творцов, организовавших акцию по сбору фекалий за собаками в парках Петербурга», «женщине, обклеивающей булыжники почтовыми марками», и т. д.

Ни нищих, но талантливых художников, ни нищих, но одаренных актеров, ни нищих, но достойных поэтов Толстая в России не обнаружила. Чего взять с этого народа, им бы только фекалии собирать. Поэтому и писать не о ком.

И вот она судит об истории, которую знает плохо, в основном по подшивке «Огонька» за начало 1990-х, в котором тогда печаталась. Судит об экономике, которую не знает вовсе, разве что по роману «Дамское счастье». С агрессивной безапелляционностью судит о русском народе, и с языка ее едва не рвется ругань: «И будешь в хлев ты загнан палкой, народ, не

помнящий святынь...» Палку эту я очень хорошо представляю в руках Толстой, вижу, как она размахивает ею.

Читая Толстую, я все время думал: откуда столько раздражения? откуда такие беспардонные суждения? как в ней зародилась такая неприязнь к народу? К ближним, по сути... Что это – свойство характера? Ведь логическим путем к тем выводам, к каким приходит Толстая, прийти сложно.

Да, именно свойство характера. В эссе «Переводные картинки» Татьяна Толстая вспоминает, как в детстве ее обучали французскому языку: приходила учительница и занималась с Танечкой и с ее сестрой. Когда учительница уходила, сестренки читали папе и маме стишки собственного сочинения о ней: «Ее дыханье неприятно, рука ее клешне подобна, сидеть с ней, право, неудобно: как безобразна, как отвратна!» и т. д.

Вся семья хохотала. Хохотали папа и мама, сами сестры хихикали – вспоминает Толстая спустя десятки лет, ни строчки из стишков, ни счастливых улыбок не забыв.

Может быть, у меня несколько неверные представления о морали, но я считаю, что рассказываемое Толстой – это абсолютное и хамское барство. Своего ребенка я бы наказал за такие «сочинения».

Толстую не наказали. «Родители поощряли любое творчество и фантазию», – пишет она. Вот из этого стишка и произросли публицистические фантазии Толстой.

2002

Пролеты и проруби

Русский поэт отвечает за базар. Слово «поэт» я произношу в самом широком смысле, имея в виду человека, который видит слово главным инструментом постижения бытия.

У нас так повелось со времен протопопы Аввакума – он был одним из первых поэтов и ответ за свои слова держал.

Потом на дуэли погибли два гениальных мужа, второй – так вообще юноша. Они задали тон, отступление от него равносильно отлучению от искусства.

Достоевский был помилован за считанные минуты до смертной казни, сидел в тюрьме, а потом много и азартно играл, словно пытался проиграть само вещество жизни, невыносимое для русского поэта. Чернышевский сидел в тюрьме. Мандельштам умер в лагере.

Гоголь не умел драться на дуэли и даже попасть в тюрьму не сумел, поэтому он старательно сошел с ума. Тоже выход.

Чехова не посадили в тюрьму, не отправили на Колыму, поэтому он сам уехал на Сахалин, надломил свое здоровье и в конце концов от этого умер, сорока четырех лет, молодой, в сущности, мужчина.

Гаршин выбросился в пролет лестницы. Афанасий Фет пытался отравиться, служанка заметила, отобрала отраву. Пока поэт бегал за служанкой по дому, его хватил инфаркт. Получилось-таки!

Лев Толстой был замечательно смелым офицером, севастопольским героем, усмирителем горцев, зачистки проводил, потом стал проповедником добра, до того себя довел, что сбежал неведомо куда и в пути умер.

Другой великий Толстой, Алексей Николаевич, казалось бы, примерный советский граф, умер от передозировки морфия: у него уже не было сил бежать.

Блок так ненавидел старый мир, что умер от счастья, когда этот мир разрушили; хотя был удивительно сильным человеком. Есенин повесил себя, Маяковский застрелил, Гумилев и Павел Васильев довели советскую власть до того, что она их убила. Могла бы и не убивать, но у Гумилева и Васильева были вполне определенные планы. Россия – страна самураев, безусловно.

И никакой красно-коричневый тоталитаризм тут ни при чем. Николай Добролюбов и Борис Рыжий ушли в двадцать шесть лет, хотя первый жил во времена просвещенного монархического тоталитаризма, а второй – в безвременье непросвещенного либерального.

Радищева затравили. Рылеева удавили. Бабеля застрелили.

Впрочем, рецепт спокойного долгожительства, конечно, есть: надо собирать пожитки и бросать эту Россию к черту. Так сделал Тургенев и жил себе. Так сделал Набоков, и ловил бабочек в горах. Так сделал Гайто Газданов и умер от непотребного, в три глотки, курения, но стариком. Так сделали Бунин, Мережковский, Шмелев и жили долго. А вот Куприн и Горький только вернулись – и сразу умерли. Цветаева вернулась – и удавилась.

Владимир Максимов вернулся и умер от огорчения: когда он приехал, здесь умудрились порубить на части собственную страну, как дурной мясник живую корову.

И Абрам Терц, он же Андрей Синявский, не перенес того же огорчения.

Эдуард Лимонов, пока жил за границей, пил спиртное, употреблял наркотики, воевал в Сербии и все это время чувствовал себя прекрасно. Потом вернулся в Россию, и здесь ему проломили голову, а потом посадили в тюрьму.

Определенно, правы самые квасные и перековашенные патриоты: Россия – любимая Господня дочка. Здесь строго соблюдаются главные человеческие законы. Здесь, я говорю, отвечают за базар.

С маленьким талантом в России еще можно жить, с большим – надо скорей умирать или, в лучшем случае, все для этого делать. Воевать так, чтобы исключить самую возможность выживания – как воевали Виктор Астафьев, Юрий Бондарев и Константин Воробьев. Сидеть в тюрьме так долго, как Варлам Шаламов, – чтобы смертельным было даже осознание пережитого опыта, сам же опыт вообще находится за пределами человеческих возможностей.

Или, наконец, как Иосиф Бродский, отказаться делать операцию на сердце, сказав безупречно: «Поэт должен умирать со своим сердцем». Недаром Бродский так тяготел к Римской, проклятой им империи: только там цезари и философы умели легко произносить гениальные фразы, которые впору отливать в бронзе. Впрочем, Бродский – да, уехал из России, я помню... но со своим обрусевшим навек сердцем он уже ничего не мог поделать.

Здесь надо пить зло и беспробудно, как Глеб Горбовский и Юрий Казаков. Мало того, что пить, еще и стараться при этом, чтобы тебя удавила невеста, как Николая Рубцова, или застрелил собственный сын, как Дмитрия Балашова. Уничтожать, изматывать себя любыми доступными способами, подобно Леониду Губанову или Василию Шукшину. Посещать все вооруженные конфликты на планете Земля и в обязательном порядке – баррикады в собственной стране, подобно Александру Проханову.

Иначе нельзя.

Чувствуете в себе дар – бегите отсюда очертя голову. Не чувствуете – живите спокойно.

И за границами России порой случаются неприятности с большими писателями, отметим мы справедливости ради. Шекспир сидел в тюрьме. Старик Хэм охотился на тигров и застрелился. Джек Лондон отравился. Антуан де Сент-Экзюпери исчез вместе с самолетом, а Юкио Мисима сделал себе харакири. Недаром всех названных так любят в России: чувствуют своих! Чувствуют, что эти ребята умели отвечать за базар, ходить в разведку, пить вино и все такое.

Кстати, Джека Лондона забыли в Америке еще полвека назад, а к Мисиме в Японии относятся с должным подозрением. Здесь, в России, им ничего не грозит. У нас они – всегда дома, всегда любимы.

Там, за границами, их приключенья – исключение. У нас – норма.

Осталось разобраться: такое положение вещей в России – это что? Патология? Предмет тоски или повод для гордости?

Предложим такой ответ: это природа.

Наряду с холодной зимой, большими и белыми, а потом – серыми снегами, непролазной весенней грязью, половодьем, при котором реки рискуют забыть, где их русла, странным, комариным летом и волшебной золотой осенью – наряду со всем этим у нас поэты падают в пролеты и проруби, пьют из горла, играют в карты, обманывают женщин, стреляют в людей, и чаще всего эти люди – они сами. Природа такая.

Подражать им бессмысленно: за всякую ересь, что простится поэту, подражателя поделом назовут подлецом и придурком.

Осуждать их бессмысленно, потому что любой миф о русском поэте сильнее занудной истины. В России судьба любого русского поэта – бестселлер. Больше нигде в мире не снимают сериалов о поэтах – и сериалы смотрит целый народ затаив дыхание. И пусть сериалы бездарные, хоть о настоящем Есенине, хоть о выдуманном Иване Бездомном, дело не в этом. Главное то, что они – о поэтах, эти фильмы.

Будем относиться ко всему этому как к природе: примем как есть, без подлого пафоса и ложной слезы. Русские поэты этого не любили. У них был хороший вкус. Если у нас еще остались крохи здравого смысла – это их заслуга.

Ну вот, видите – и я в пафос оступился. Умолкаю.

2005

Че и Мигель: раз рыцарь, два рыцарь...

В пьесе Марины и Сергея Дяченко «Последний Дон Кихот» есть любопытный момент, где описывается неизвестный портрет Рыцаря Печального Образа. Человек, изображенный там, вовсе не напоминает привычные изображения Дон Кихота. Веселые морщины, крепкие зубы, улыбка, лукавые глаза, борода – вот такой на портрете Рыцарь.

«Говорят, что Рыцарь Печального Образа вовсе не был так засушен, как это принято считать, – замечает героиня пьесы. – Говорят, он любил жизнь».

Когда я пытаюсь представить себе этот портрет, я почему-то вижу Че Гевару.

Мигель Сервантес де Сааведра создал великолепную, на все времена, пародию на самого себя, написав Дон Кихота. Сходство меж Сервантесом (а также его метафизическим двойником Дон Кихотом) и Че Геварой далеко не только внешнее.

Станный и, по сути, не совсем понятный мировой культ Че Гевары можно объяснить несколькими причинами. Че Гевара был не самым успешным и даже не самым харизматичным революционером. После кубинской победы его преследовали провалы: не очень удачная (по большому счету – неудачная) карьера дипломата, случайная и ненужная ему самому работа в качестве главного кубинского банкира, провальная попытка устроить свою Кубу в Конго, ну и финальная драма в Боливии, где Че был расстрелян, после чего ему отрезали руки – для идентификации личности по отпечаткам пальцев.

История минувшего века зафиксировала куда более удачливых бунтов, но мир почти не знает их в лицо и не тиражирует их портреты на миллионах носителей.

В том и загадка, и прелесть Че, что он, в отличие от Фиделя, так и не стал политиком, но остался человеком. К тому же, повторимся, неудачником, так и не победившим свою ветряную мельницу и в итоге затоптанным свиньями (помните, как свиньи топтали Дон Кихота?).

В России вообще очень любим тип подобных косматых мужчин – от печального Хэма до бородатых покорителей тайги, одновременно мужественных и несчастных (к тому же порой с расстроенной гитарой в руках).

И Сервантес, по нормальным человеческим понятиям, – неудачник законченного типа.

В биографиях Че и Мигеля помимо, как ни странно, разительного сходства типажей есть множество тайных рифм.

Конечно же, они оба имели отношение к Испании, носили в себе эту горячую, смуглую приморскую кровь.

Че, хоть и был аргентинцем в добром десятке поколений, но предки его по отцовской линии – из Испании (а по материнской – из числа ирландских бунтарей).

С национальной гордостью Испании Сервантесом все понятно, разве что не все знают, что мать его – из семьи крещеных евреев.

В двадцать два года Че становится матросом (к слову сказать, и самое счастливое свое плавание он совершает на яхте «Гранма» – навстречу кубинской революции; но это было чуть позже).

В двадцать четыре года Сервантес становится солдатом морской экспедиции, которую испанский король, Папа и сеньория Венеции готовили против турок.

Оба мужественно воевали. Че был ранен – минимум дважды; Сервантес – четырежды, правда, все четыре раны он получил в одном бою. О Сервантесе говорили, что он сражался с «поэтическим пылом»; о Че, обожаемом поэтами, безусловно, можно сказать то же самое.

Как и у Че, у Сервантеса были как минимум три серьезные военные экспедиции: помянутый турецкий поход, неудачная тунисская экспедиция и плавание в Алжир. В последнем случае Сервантес попал в плен, был приговорен к смертной казни и выжил чудом.

Оба пытались заниматься (в самом широком смысле) хозяйственной деятельностью, и обоим это не принесло радости.

Сервантес поступил в интендантскую службу; ему поручили закупать провиант для «Непобедимой Армады», но, неспособный к арифметике, он вскоре попал в тюрьму за растрапы.

Назначение Че директором Национального банка Кубы не привело к столь печальным последствиям, благо он этим занимался недолго; дипломатическая его работа в итоге привела к разрыву и с Фиделем, и с Советами.

Забыл сказать, что еще до тюрьмы Сервантесу дважды пришлось реквизировать пшеницу у духовенства, и его отлучили от церкви.

В довершение портрета этого человека добавим, что, хоть Сервантес и женился в достойном тридцатисемилетнем возрасте на девятнадцатилетней девушке, жену он видел настолько редко (ну, как Че), что его единственный ребенок родился от внебрачной связи.

Даже публикация романа о Дон Кихоте, принесящая Сервантесу почитателей во всем мире, не одарила его покоем и благополучием. Он умер в полунищете и, умирая, сказал, что уносит на плечах «камень с надписью, в которой читалось разрушение всех его надежд».

Наверное, воин, писатель, мечтатель Че мог бы сказать что-то подобное перед смертью.

Че погиб 9 октября. Мигель 9 октября был крещен – и, собственно говоря, сей текст написан к юбилею смерти одного и юбилею рождения второго. Последние книги обоих, посвященные, скажем так, путешествиям («Боливийский дневник» и «Странствия Персилеса и Сихизмунды») опубликованы посмертно.

О ком-то из них было сказано: «...поэту, ветреному и мечтательному, ему не доставало житейского уменья, и он не извлек пользы ни из своих военных кампаний, ни из своих текстов. Это была душа бескорыстная, поочередно очарованная или негодующая, неодолимо отдававшаяся всем своим порывам. Его видели наивно влюбленным во все прекрасное, великодушное и благородное, предающимся романическим грезам или любовным мечтаниям, пылким на поле битвы, то погруженным в глубокое размышление, то беззаботно веселым...»

Удивительный и наивный пророк, героический в своих бедствиях и добрый в своей гениальности».

Я, конечно же, лукавлю, говоря, что не знаю, о ком идет речь в этом пассаже. Это сказано о Сервантесе; текст принадлежит лучшему его биографу по имени Шаль. Но каждое сказанное им слово – о Че. Добавить нечего.

2007

Печальный плотник, сочиняющий стихи

Пролог. «Давай сломаем этот образ!»

Воспоминания начинаются так: Москва, Фрунзенская набережная. Отец и сын: белобрысый дошкольник на заплетающихся ножках. Маленькая его лапка затерялась в крепкой взрослой руке.

Вокруг яркое, отчетливое, цветущее тополиное лето. Мощь сталинской архитектуры, Воробьевы горы, река и солнце в реке – а отец смотрит на мальчика с невыносимой жалостью: пацана опять будут оперировать.

– А что болело? – спрашиваю.

Пацан вырос. Ему уже много лет. Он отвечает:

– Что только не болело... Гланды резали в четыре года... водянка – это с мочевым пузырем... В паху резали. До сих пор шрам в районе яиц... Только и делал, что болел и перемещался из больницы в больницу.

Разговор происходит на второй день знакомства, под третий стакан. Мы тихо пьем вино в его маленькой скромной квартирке – поэт Всеволод Емелин, его жена Вероника и я.

С тех пор как лет, наверное, пять назад я прочел его стихи, мне всегда казалось, что он только и занимается тем, что смешит, издевается и дурит. Я был не прав.

Последний народный поэт в России Емелин все пишет более чем всерьез. Дышит в его текстах расхристанная, уже за пределом приличий искренность.

– Слушай, я тебе такие вещи рассказываю – о них никто не знает, я никому не говорил... – останавливает себя Емелин. – У меня же образ такого простого рабочего паренька с окраины...

– Давай, Сев, разломаем этот образ, а?

– Давай... Так вот: ни хрена я не с рабочей окраины.

Глава первая, Кремлевская

Если он говорит грустные вещи – лицо печально, но глаза при этом веселые. Если о веселом вспомнит – все наоборот.

О маме говорит с грустным взглядом.

Мать «паренька с рабочей окраины» Севы Емелина работала в Кремле.

Тут бы хорошо добить удивленного читателя и сказать, что Емелин – внебрачный сын, к примеру, министра культуры Фурцевой: была такая легендарная женщина в СССР. У Фурцевой обязательно должны были родиться именно такие «поперечные» дети. Очень мелодраматичная получилась бы история. Но нет, все чуть проще.

Его отец был художником-конструктором. И мама была вовсе не Фурцевой, а секретаршей одного из видных кремлевских начальников. Впрочем, в советские времена попасть в Кремль было не столь сложно, как кажется.

– С одной стороны, это была замкнутая структура, – говорит Сева о кремлевских служащих эпохи позднего, так сказать, тоталитаризма. – Но обслуживающий персонал туда набирали простой – обычных девчонок из подмосковных деревень, без всяких образований. И, грубо говоря, «осчастливливали» их такой работой. Они и селились «кустами» – по несколько домов в разных уголках Москвы. На работу, прямо к Спасской башне, их доставляли на автобусе. На Васильевском спуске у Кремля автобус останавливался. И вечером развозили.

Я несколько не удивился, услышав эту историю: мой прадед по материнской линии, из захолустной деревни Казинка Рязанской области, работал на даче у Сталина. Садовником. Правда, генсека видел он только издали, зато с Ворошиловым встречался часто. Отработал и вернулся в свой сельский дом как ни в чем не бывало.

Мать Севы попала в Кремль в 1951-м.

Во время войны она, заметим, была в оккупации, «под немцем». Мало того, ее отец, дед поэта Емелина, был расстрелян в 1937-м как «враг народа». Что вовсе не помешало маме Севы обосноваться за кремлевскими стенами и перестукивать там на печатной машинке важные документы.

Попробуйте рассказать эту историю какому-нибудь иностранцу – не поверят ведь. Скажут, что врем.

Рассказывала мать о своей работе крайне редко: видимо, и не должна была, согласно неким циркулярам. Но несколько историй за целую материнскую жизнь Сева все-таки услышал.

Видела она Сталина, например. Шла по коридору Кремля, навстречу вождь народов. Впереди вождя автоматчики, которые разгоняли всех подвернувшихся. Будущую маму Севы Емелина втолкнули в ближайшую комнату, оказавшуюся мужским туалетом. Там она, в компании автоматчика и пары других напуганных девушек, переждала, пока Иосиф Виссарионович проследует. В туалет он не заглянул.

А потом мама видела и Хрущева, и Брежнева, и всех иных. Эти попроще были, без автоматчиков по коридорам передвигались.

– Косыгина она очень любила, – рассказывает Емелин. – Вспоминала: вот он бредет по кремлевскому саду, задумчиво рвет с яблони зеленое яблоко, откусывает и не бросает, а кладет в карман пиджака... С ней здоровались (я не думаю, что она выдумала это – мама никогда не была склонна к хвастовству) – и Косыгин тот же, и Микоян, и иные, – по имени называли ее.

Мать Емелина работала у человека по фамилии Мельников, он курировал четыре оборонных министерства.

– Слушай, а кремлевские елки ты посещал? – спрашиваю Емелина.

– Было дело – с детьми других кремлевских служащих... Но я больше любил обычные елки.

– И, конечно же, ездил по путевкам в кремлевские пионерлагеря и дома отдыха?

– Естественно. Один из них был, например, в Остафьево – это имение князей Вяземских. Недавно видел по телевизору, что там делают дом-музей, а я, помню, сживал в этом имении у камина... Там Пушкины бывали, Карамзины всякие.

Старинная мебель к моменту появления там будущего поэта Емелина не сохранилась, зато навезли множество трофейного немецкого барахла. Стояли гигантские фарфоровые зеркала. Утверждали, что самое массивное, с узорами из сплетающихся роз, привезено из резиденции Германа Геринга...

Емелин смотрелся в него. Быть может, видел отраженья своих будущих стихов: «Из лесу выходит / Серенький волчок, / На стене выводит / Свастики значок».

Если б не кочеванье по больницам, детство Севы было бы вовсе замечательным.

Питалась, к примеру, семья Емелиных по тем временам очень хорошо. Мама получала кремлевский спецпаек: колбаса докторская, сосиски микояновские, армянская вырезка, и даже картошку привозили из подсобных хозяйств. В магазин ходили только за хлебом и за солью.

– Слушай, – говорю я Севе, – вот услышат тебя наши прожженные либералы и сразу сообразят, откуда в тебе эта ностальгия. Я же наизусть помню: «Не бил барабан перед смутным полком, / Когда мы вождя хоронили, / И труп с разрывающим душу гудком / Мы в тело земли опустили... / С тех пор непрерывно я плачу и пью / И вижу венки и медали. / Не Брежнева

тело, а юность мою / Вы мокрой землей закидали». Вот, скажут они, откуда эта печаль: он же кремлевский мальчик, он же сосиски микояновские ел, когда мы в очередях давились...

Тут впервые у Севы становятся и глаза грустными, и улыбка пропадает при этом.

– Я же не о сосисках печалюсь, а о том, что юность моя похоронена.

Глава вторая, Геодезическая

В детстве Сева пацаном веселым, разбитным и забубенным не был.

– В школе я какое-то время пытался изображать хулигана, – говорит Всеволод Емелин. – Но в классе уже были настоящие хулиганы, на их фоне я смотрелся...

Дальше недолго молчит.

– Короче, они быстро просекли все, настоящие хулиганы. Лет в тринадцать-четырнадцать я входил в пятерку самых забитых и опущенных в классе. Пока хулиганов не повыгоняли из школы после восьмого.

Учился плохо. Но читал книги – был доступ в роскошную библиотеку Совмина, там хранились развалы редкой фантастики: и Лем, и Брэдбери, и прочие... Поэзия началась в последних школьных классах.

– Блок, Блок, Блок. Стихи о Прекрасной Даме всякие...

После школы пошел на геодезический.

– Все в моей семье было на самом хорошем уровне: и жилье, и питание, и возможность отдохнуть, – говорит Емелин. – После седьмого класса наш достаток стал предметом моих серьезных комплексов, одноклассников я домой не водил... Но вот чего не было, так это хоть какого-то блага при поступлении в вуз.

В итоге поступал сам. И поступил.

– Когда пришел в институт, долго не мог понять, что за люди меня окружают, – рассказывает Емелин. – С одной стороны, люди как люди, а с другой... как-то не очень похожи на тех, что были вокруг до сих пор. Потом наконец выяснилось, что кроме меня в группе москвичей всего два человека. Другие ребята и девочки были из иных краев.

И вот на первом же занятии вызвали к доске москвича. Преподаватель говорит: «Хочу проверить ваши знания. Нарисуйте мне, как выглядит график синуса».

– Явно задумался парень, хотя только что сдал экзамен, прошел конкурс, – смеется Емелин. – На доске – ось «икс», ось «игрек». Студент смотрит на них. Преподаватель просит: «Самый простой график». Студент параллельно оси «икс» ведет прямую линию. Преподавателя, как я понял, уже трудно было чем-либо удивить. Он посмотрел и говорит: «Ну хорошо. Теперь нарисуйте мне косинус». Опять у студента растерянный взгляд, и он рисует линию параллельно оси «игрек». «Замечательно! – говорит преподаватель. – Садитесь!»

В общем, учиться там было, мягко говоря, несложно. Поначалу Емелин был круглым отличником.

У Севы и стипендия имела – сорок рублей. А портвейн тогда стоил, напомним, два рубля двенадцать копеек. Был, впрочем, разбодяженный портвешок по рубль восемьдесят семь, и был еще по три рубля – марочный, с трехлетней выдержкой.

Так все и началось.

Нет, портвейн Сева уже в школе попробовал: «Едва период мастурбации / В моем развитии настал, / Уже тогда портвейн тринадцатый / Я всем иным предпочитал. / Непризнанный поэт и гений, / Исполненный надежд и бед, / Я был ровесником портвейна – / Мне было лишь тринадцать лет...».

Но в институте уже пошла серьезная история...

– Вытрезвители были? Кости ломал в подпитии, сознаваясь? Иные непотребства совершал?

– Было, было, все было. И кости ломал, и вырезатели неоднократные...

Мы рассматриваем фотографии Всеволода Емелина, и невооруженным глазом видно, что в подавляющем большинстве случаев поэт несколько или глубоко пьян. В руке будущего поэта, как правило, бутылка. Иногда много бутылок возле него – на столе, или на траве, или на иной поверхности. Все початые. То ли он не фотографировался в иные минуты, то ли иные минуты были крайне редки.

Емелин констатирует факт, отвечая Бродскому: «Забивался в чужие подъезды на ночь, / До тех пор, пока не поставили коды. / И не знаю уж, как там Иосиф Алексаныч, / А я точно не пил только сухую воду».

Институт он закончил с трудом, диплом получил за честный и пронзительный взор и немедленно отправился в северные края – геодезистом, по распределению. Работу заказывала строительная организация, и делал Сева самые настоящие карты: с горизонталями, с высотами, со строениями, но не географические, а для проектных работ. Командировки длились от трех до шести месяцев – Нефтеюганск, Нижневартовск, – и бешеные, между прочим, зарабатывались там деньги. Пятьсот в месяц выходило чистыми. А Севе в ту пору едва перевалило за двадцать.

Работы иногда было не очень много, и геодезистам приходилось, в силу возможностей, коротать время.

Когда начальник партии допивался до потери человеческого облика, его грузили и эвакуировали в Москву. Сева тем временем оставался в звании и. о. начальника партии.

Партия, как правило, была небольшая: непросыхающий шофер (ездить ему было некуда, и грузовик его стоял замерзший), пара шурфовщиков и три «синяка» из местных, которых нанимали, когда возникала необходимость, скажем, рельсы носить.

Не все выдерживали такой сложный ритм работы, и на Севере Сева впервые стал свидетелем, как его сверстник и сотоварищ по работе сошел с дистанции чуть раньше остальных: его, опившегося сверх предела, отправили домой в цинке, мертвого и холодного.

В 1983 году в полярном поселке Харп, где сейчас сидит Платон Лебедев, и самого Севу настигла наконец белая горячка.

– Пили уже много дней... И водка была, и... разные были напитки. Вплоть до одеколона, все было. Помню, как все началось: вдруг увидел рассыпавшиеся по полу золотые монеты. Бегал на карачках по полу, их собирал.

Они катались, их было трудно поймать...

Что было дальше, Сева не помнит. Но, отработав три года на Севере, вскоре после харпских золотых монет Емелин принимает решение вернуться в Москву и покончить, так сказать, с геодезией.

Настроение, по всей видимости, было примерно такое:

«И только горлышки зеленые / В моем качаются мозгу. / И очи синие, бездонные... / Пиздец, я больше не могу».

Глава третья, Диссидентская

Пока Сева, краткими наездами бывая в Москве, постигал Север, у него родился от бывшей сокурсницы сын.

Прожила семья недолго.

– Я, собственно, другую бабу себе завел... – поясняет Сева. – Не хотелось врать, обманывать, настроение было вроде «да пошло все!». И расстались.

– Трагедия была?

– Нет. Там были другие, более интересные события. Тогда я пребывал в поиске «интеллигентного» общения. Еще в институте подружился с одним парнем. Он поймал шизофрению

на третьем курсе, с тех пор у него уже ходок семь в дурдома. Тем не менее он доныне не потерял человеческий облик, мы дружим и сейчас. А в те времена мой друг вообще был редким человеком: читающий, со связями в интеллигентских кругах, дядя его в Америке жил – русский поэт-эмигрант. Друг меня привел в одну компанию. Это называлось Кружок катехизации.

Кружок был подпольным (начало 1980-х на дворе!) и существовал вокруг отца Александра Меня.

О, там заседали матерые зубры: владеющие пятью языками, знавшие Надежду Яковлевну Мандельштам и Варлама Шаламова. Со связями за границей и с возможностью издавать «там-издатовские» книги. В общем, это уже была структура.

«Зазывали в квартиры – / Посидеть, поболтать. / Там меня окружила / Диссидентская рать. / В тех квартирах был, братцы, / Удивительный вид: / То висит инсталляция, / То перфоманс висит. / И, блестящий очками, / Там наук кандидат / О разрушенном храме / Делал длинный доклад. / Пили тоже немало, / И из собственных рук / Мне вино подливала / Кандидатша наук. / Я сидел там уродом, / Не поняв ни шиша, / Человек из народа, / Как лесковский Левша...»

Самого о. Меня будущий поэт видел редко. Чтобы протолкнуться к батюшке, нужны были крепкие локти – свита была плотной и сердитой; но Емелин и не рвался особенно.

Зато у него было источающее адреналин ощущение подпольщика, борца, рискующего, черт возьми, свободой во имя Руси, которую проклятые большевики... и проч., и проч.

Так все и происходило, почти как в тех вышепротитированных стихах: встречи, посиделки, Сева раздобыл ксерокс, делал копии книжек и воззваний. Вполне мог загреметь, кстати, но – миновало.

Тут и перестройка началась.

Как писали в учебниках о литераторах начала XX века, «революцию он принял восторженно». Ни одного митинга не пропускал. Клеил листовки. Раздавал прокламации. Читал правильную прессу. Агитировал косных. Ненавидел красных.

Долго помнилось ему потом утро 21 августа 1991-го. «Теперь-то уж заживем!...» – такие мысли бродили в голове поэта.

В тот день Емелин, естественно, был у Белого дома, в первых рядах защитников демократии. Они ходили по центру Москвы в состоянии ослепительного счастья и нахлынувшей новизны.

– Встретил, помню, группу парней с противогазами... – повествует Сева, отпивая вино.

– А зачем противогазы?

– Ну как же, в течение суток ничего людям не раздать!.. Помнишь, как в мультфильме: «У нас есть план!»

Вот они и делали вид, что у них есть план: раздали противогазы... Встретились мы с парнями, обнимались, восклицали что-то, готовы были расплакаться.

В стихах об этом еще лучше: «Мы цепи сомкнули, мы встали в заслон, / Мы за руки взяли друг друга. / Давай выводим свой кровавый ОМОН, / Плешивая гадина Пуго».

Но ОМОН не вышел, и Пуго проиграл.

А в 1993 году Емелин стоял у Моссовета и вместе со всеми требовал оружия, чтобы идти расстреливать красно-коричневых фашистов. Напротив поэта Емелина стояла Валерия Новодворская.

Еще запомнилось, как в толпу митингующих, требовавших оружия, въехал «Мерседес», оттуда вышли два якобы афганца – все в значках и аксельбантах, бугаи; вывели под тонкие лебединые руки из машины женщину. Толпа возликовала: «Джуна с нами!».

На трибуну вышел бывший обозреватель программы «Взгляд» Владимир Мукусев и стал говорить, что большевики не только угробили Россию, они и крейсер «Аврора» угробили. «Крейсер пропадает! Крейсер ржавеет!» – восклицал Мукусев.

– Сев, ты не ощущал тогда привкус некоего абсурда в происходящем?

– Прекрасно ощущал.

И добавляет, помолчав:

– Но все-таки в 1993 году я еще был твердо уверен, что реформам просто мешают...

Что есть один путь, и во имя него надо терпеть. Хотя жить мне стало совсем плохо. Не по сравнению с советскими временами, а вообще, конкретно. Жил на грани вполне очевидной нищеты. Ел одну картошку, без всего, без соли и масла...

Сначала Емелин устроился сторожем. Потом плотником в церковь Успения Пресвятой Богородицы. Там и работает до сих пор.

Глава четвертая, Литературная

– Сев, постой, а когда же началась литература?

Вторую половину 1990-х годов Емелин провел плотничая. В свободное от плотницкой работы время посещал редакции старых и новых журналов, старых и новых газет.

Оставив квартиру бывшей жене, жил у матери, покинувшей в 1991-м кремлевские покои. Прямо скажем, мать, железная женщина с железным характером, была недовольна сыном и по-прежнему старалась перековать его.

– До сорока пяти лет шел процесс неуклонного моего воспитания. Чем она становилась старше, тем этот процесс, поскольку я жил у нее, принимал все более гомерические формы, – признается Сева.

Лет пять прошло в спорах с матерью и бессмысленном брожении по редакциям. В редакциях выходили люди с «затуманенными восточно-средиземноморскими глазами» (определение Емелина) и говорили: «Да, да, почитаем...»

– ...И несли рукопись до первого мусорного ведра... Появились тогда у меня новые настроения: за что я боролся и бегал у них на побегушках, листовки за них клеил, книжки доставал, поручения их выполнял? И где чего? где награды? – здесь Емелин смеется.

Впрочем, уже тогда стихи Емелина ходили по рукам – от поклонниц к поклонникам и далее по кругу. И вот, как водится в сказках, под Новый, 2000 год раздался в его квартире звонок: «Здравствуйте, я Виктория Шохина из “Независимой газеты”. Мы хотим опубликовать подборку ваших текстов. Они нам очень нравятся».

И опубликовали. Целый разворот. С биографией и фотокарточкой Емелина. Стотысячным тиражом.

Публикация вызвала фурор. «Независимую» завалили письмами и задолбали звонками: кто это? откуда он взялся?

Через неделю из газеты снова позвонили: «Знаете, мы два раза подряд никого не печатаем... тем более поэзию... Но вас хотим».

И дали еще один разворот.

– Это было счастье?

– Да, да. Напился.

– И?

– И ничего не произошло.

– Как не произошло, Сева? Ты же народный поэт, ты известный. У тебя за пять лет вышли четыре книги – когда у девяносто девяти из ста русских поэтов не выходит по десять лет ни одной! Одну из твоих книжек издал Илья Кормильцев, который, кроме тебя и Лимонова, больше не издавал ни одного поэта. Твои стихи, я в курсе, знают и помнят тысячи подростков в разных концах страны. (За взрослых не отвечаю – просто реже с ними общаюсь...)

– Я немножко понимаю в поэзии, – отвечает Емелин. – Последним известным поэтом был Евгений Евтушенко.

– Хорошо, – меняю я тему. – А мама твоя читала стихи сына? Гордилась?

– Знаю, что она прочитала стихотворение про Белый дом.

(«Пока я там жизнью своей рисковал, / Боролся за правое дело, / Супругу мою обнимал-целовал / Ее замначальник отдела».)

– Мама сказала, что вообще не понимает, что это за чушь. Я против, говорит, этих капиталистов, захвативших власть, – но ты-то вроде там стоял. Значит, стоял неизвестно ради чего? Плюс ко всему о жене написал: это вообще невозможно. Ты потеряешь сына, если он это прочтет.

Сына Сева не потерял, парень отнесся к признаниям отца с юмором. Зато благодаря поэзии Емелин нашел жену.

– Вероника, расскажи, как все было, – прошу я ее.

– В декабре 2003-го я была в гостях у певца Александра О’Шеннона, – говорит Вероника, – и он спел новую свою песню на стихи Емелина: «День рожденья Гитлера».

(«Я иду за первую / Утренней поллитрою / В Воскресенье Вербное, / В день рожденья Гитлера».) Все, конечно, пришли в полный восторг. Саша откуда-то извлек книжку Емелина, мы читали ее полночи вслух, плакали...

– «Плакали»... Не пизди... – говорит Сева доброжелательно, даже с нежностью.

– Хохотали до слез, – поправляет Вероника, нарезая груши к нашему красному полусладкому.

– Я сразу поняла, что автор этих стихов – тот мужчина, что мне нужен...

– И когда вы увиделись?

– Еще много времени прошло с того дня... – отвечает кто-то из них.

Они смотрят друг на друга, пытаюсь вспомнить дату, и наконец вспоминают.

17 июля 2004 года уже сам Емелин был в гостях у Александра О’Шеннона в Зюзино. Выпили, конечно. Емелин вышел за пивом, приобрел примерно пол-ящика, пошел обратно и... потерялся. Бродил уже несколько часов по району, уничтожая закупленные запасы пива. Местные жители не знали, кто такой Александр О’Шеннон и тем более где он живет.

Вдруг подъезжает к одному из подъездов роскошная машина, и оттуда выходит Вероника, которую Емелин, естественно, еще не знал...

– ...Но сразу понял: такая женщина может идти только к Шеннону, – говорит Емелин. – Подбежал к ней, громыхая оставшимся в пакете пивом: «Вы – к Шеннону?!»

Естественно, к Шеннону.

– В первую же пьяную ночь Емелин сказал: «Выходи за меня!» – говорит Вероника. (Емелин называет ее Веронк.)

Они поженились.

Огромная фотография молодоженов была опубликована на первой полосе самой крупной литературной газеты. Новость № 1: «Поэт женился!».

Больше подобных фотографий ни в этой, ни в другой литературной газете я не встречал. И после этого Емелин говорит, что он неизвестный поэт.

Вместо эпилога

Мы в церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Внутри идет постоянный ремонт, что-то реставрируется. Стоят крепкие леса. Их построил Емелин.

– Сев, сколько тебе все-таки лет?

– Сорок восемь. Помирать пора.

– Много, да?

– Считаю, что ужасно много, а чувствую себя на все семьдесят восемь.

Мы ходим по храму. Начинается ежедневная процедура обеда для бомжей. Каменные помещения наполняются терпким запахом старых одежд и немых тел. Емелин смотрит на бомжей спокойно, тихими глазами, на лице ни единой эмоции: ни жалости, ни брезгливости.

Я не знаю, о чем он думает.

– Сев, а русский человек – он какой, по-твоему?

– Русский человек – не православный, не голубоглазый, не русский, нет. Это пьющий человек, приворовывающий, отягощенный семьей и заботами. Но при этом: последний кусок не берет, пустую бутылку на стол не ставит, начальству вслух о любви не говорит. У него твердые понятия о жизни. Но вовсе не те, которыми его обычно наделяют...

– Ты ощущаешь себя русским человеком?

– Ну конечно.

Достоевский говорил про амбивалентность русского человека. Емелин в этом смысле пример почти идеальный. Известно-неизвестный поэт, проживший полвека счастливо-несчастной жизни, на которую он смотрит грустно-веселыми глазами.

– Знаешь, что я думаю, Сев... Мы вот ломали твой образ, ломали, а он стал еще крепче. Никак не пойму отчего.

Всеволод Емелин пожимает плечами.

Мы идем в кафе.

– У меня уже третью твою книжку зачитали, – жалею я. – Где тут можно купить поблизости?

– Этого говна полно. Дарю.

Он извлекает книжку из рюкзака.

Кроме нас в кафе сидят человек, наверное, тридцать. Вряд ли кто-то из них знает, кто такой поэт Емелин. Но ведь они и Евтушенко наверняка не читали.

Зато напротив стоит церковь в лесах Емелина, а на круглом столике лежит его же синяя книжка, где есть несколько волшебных строк. Похоже, мироздание на месте. Понимать его вовсе не обязательно. Достаточно смотреть на него открытыми глазами. Это не всякому дано.

Емелину дано. Но, судя по всему, это не дарует человеку исключительно радостные ощущения.

2007

Есаул, есаул, ты же кинешь меня...

Помню, всего семь или восемь лет назад читал репортаж одного видного публициста о посещении самой обычной провинциальной библиотеки. Там публицист неприязненно перебирал книги совписов и вроде как печалился: «Ну кому теперь они нужны, все эти прохановы со своими романами... Ушли навсегда!» Но вот позавчера шел я мимо книжных лотков, а там новинки от Проханова лежат на самом красивом месте. А названия романов какие! «Выбор оружия», «Матрица войны», «Восточный бастион», «"Контрас" на глиняных ногах». И обложки, в полном соответствии с названиями, украшены красивыми мужиками в боевой раскраске, которые в разные стороны целят из автоматов. Мало кто знает, что все эти книги впервые были изданы как раз в Советском Союзе и вроде как должны были уйти навсегда, а не располагаться призывно меж Акуниным и Пелевиным...

«Восточный бастион» – это самый, наверное, известный советский роман Проханова «Дерево в центре Кабула», впервые изданный в 1982 году. Спустя десять лет Проханов его переписал и назвал «Сон о Кабуле». Теперь роман об афганской войне вышел под третьим названием, которое Александру Андреевичу наверняка навязали издатели, а он не отказался. Ему все равно, и правильно, что все равно.

Новоявленная «Матрица войны» – это роман «В островах охотник» 1983 года издания, а «Выбор оружия» – «Африканист» 1984-го.

«"Контрас" на глиняных ногах» – это книжка «И вот приходит ветер...» 1985 года – о событиях в Никарагуа. Несколько переработанная, конечно, но в целом все та же.

Проханов обыграл судьбу, вернулся в мир большой литературы – весь в белом, на белом коне (хотя еще лучше ему подходит слон в доспехах), сам себе и бастион, и матрица, и Господин Гексоген, и Последний Солдат Империи.

По сути, судьба его – воплощение нескольких вполне прозрачных законов бытия.

В начале 1980-х Александр Андреевич, обласканный советской властью, автор десятка отличных книг, орденосец, был неожиданно выброшен из первого эшелона литераторов. Сам эшелон пустили под откос вместе со страной, а пути разобрали...

Забытый почти всеми, и в первую очередь читателями, Александр Андреевич партизанил, ходил по лесам в телогрейке, ел с ножа, спал у костра, разжигая его газетой «Завтра», несколько раз был ранен в сердце... Выжил чудом.

В телевизоре он появлялся раз в три года на десять секунд, и называли его при этом исключительно «фашистом». Литературные газеты и журналы игнорировали самое имя Проханова.

Книги его издавались редко и в полуподпольных издательствах. Купить их можно было только в редакции газеты «Завтра» или взять почитать у критика Владимира Бондаренко.

Но в конце концов, вознагражденный за верность избранному пути и стоицизм, Проханов вынес свой обгоревший тулуп, несколько рукописей и крест на плечах из дремучего леса и сразу попал под свет софитов, шелканье фотоаппаратов и перекрестный допрос журналистов.

Книги его стали выходить в «громких» издательствах. Те, кто в свое время властвовал в литературе, пока Проханов партизанил, как-то неожиданно исчезли, затмились, рассеялись. Ну что такое сегодня, скажем, Гладиллин или Войнович по сравнению с самим – ого-го! – Прохановым?!

Самый модный российский критик Лев Данилкин написал толстую книгу о Проханове, она вышла в издательстве «Ад Маргинем». Разве заставишь Данилкина о Войновиче написать или о Гладиллине?

Как все-таки меняется время. Кто бы мог представить такое еще позавчера...

Иногда кажется, что Проханов – тот самый человек, который мог спасти советскую власть. Политолог Станислав Белковский сказал как-то, что если бы на ее исходе была должность главного по PR, Проханову непременно стоило бы стать первым пиарщиком Брежнева.

Ох, он бы доказал нам, в какой мы стране живем! Какие космические проекты и какие ядерные щиты у нас, рассказал бы! Какие стройки мы строим, поведал! Какие войны мы воюем, изобразил! Какое будущее грядет, расписал бы...

Он бы со вкусом все это сделал и главное, с искренней верой. Именно веры тогда не хватало тотально.

Но не нужен был Брежневу пиарщик. Так все и обвалилось.

Затем Проханов пытался объединить злых и разрозненных партизан то вокруг ГКЧП, то вокруг Зюганова, то вокруг Глазьева, но все его протезы оказывались недостойны прохановской веры, прохановского пафоса и того духа, который неистовый Александр Андреевич пытался вдохнуть в них. Дух покидал их, они слабели и рассыпались, и лишь Проханов кормился от неведомых энергий и творил все больше и даже все лучше.

Самые свои мощные романы он написал, когда иные его сверстники и собратья по перу давно утратили дыхание и потеряли разбег. Скажем, великолепный «Дворец» создан в середине 1990-х, а величественная «Надпись» – в середине нулевых.

Не столь давний роман Проханова «Политолог», посвященный политикам и технологам от политики, стал в известном смысле итоговым. Стало ясно, сколь страшно разочарован Проханов в политических элитах, в оппозиции, в друзьях и врагах, во всем, что творится в России.

Но именно в это время заинтересованность в Проханове стал активно проявлять Кремль. По всей видимости, что-то есть такое в нынешней власти, что тянет ее на все опустошенное, остывающее, уставшее, а то и с гнильцой.

О связях Александра Андреевича и Владислава Суркова не говорил только ленивый, и главное, сам Проханов даже не пытается скрыть своих надежд и на некоторых нынешних обитателей Кремля.

«Есаул» – так называет Проханов человека, очень похожего на Суркова, в романе «Теплоход “Иосиф Бродский”». Есаул – жестокий, злой, беспощадный, но ему простительно: у него жизнь была плохая, и к тому же он Родину любит, что, по мнению Александра Андреевича, является индульгенцией от многих, если не от всех прегрешений.

Видимо, Проханов был всерьез очарован утонченным, улыбчивым, служившим, по легенде, в ГРУ, писавшим стихи и ныне наделенным огромной властью замом главы администрации президента.

Но ровно на этом месте, опять же согласно некоторым законам бытия, начало заканчиваться творчество. В «Теплоходе...» Проханову, неизбежно щедрому на метафоры, безудержному в штыковых атаках и ковровых бомбардировках, вдруг стал отказывать вкус. Вообще «Теплоход “Иосиф Бродский”» – самый дурной из всех им написанных и чуть ли не единственный столь откровенно дурной роман.

Видимо, плох он был уже в самом замысле своем: наделить хоть одного представителя нынешней власти тайной, истовой и болезненной любовью к России. Дикая, вулканическая прохановская мощь так и не смогла спасти текст и сделать из Есаула даже слабое подобие разведчика Белосельцева (альтер-эго Проханова, действующий в семи его романах, в том числе и в помянутых «Матрицах...», «Бастионах...» и «Контрасах»).

То, что сегодня происходит вокруг Проханова, лишь утверждает в убеждении, что Александр Андреевич не хочет возвращаться в лес и утомленно ищет, где успокоить душу. В то время как в душу ему лезут наглые бесы и пляшут там свои дурацкие танцы.

Как-то раз в СМИ прошла информация, подслушанная одним небезызвестным человеком за тяжелыми кулисами: Александра Андреевича в Кремле всерьез рассматривали в качестве возможного преемника Путина.

Это безусловно анекдот, хоть и имеющий отношение к реальности. Но даже в качестве анекдота эта история показывает, насколько неразвиты элементарные представления о реальности у людей, облеченных властью.

Проханов никогда и ни за что не будет управлять ничем большим, чем редакция газеты.

При всем своем неудержимом милитаризме Проханов – человек добрый, воспитанный в лоне русской, пресыщенной гуманистическим пафосом классики и всерьез думающий о будущем своей бессмертной души.

В то время как путь правителя России, тем более будущего нашего правителя, – это путь если не в ад, то по горячей кромке ада, где чумной жар опалывает волосы и плоть. Всякий истинный художник понимает, что это такое. А Проханов – истинный художник, что бы там ни говорили о нем.

Однако ж сегодня Александр Андреевич Проханов сам попал на теплоход «Иосиф Бродский», который в его одноименном романе везет нетопырей и недотыкомов, облеченных властью. Ходит среди них – большой, надменный, спокойный.

Скоро, предчувствую, скоро, тихо матерясь и уповая на первую маленькую холодную звезду, Александр Андреевич спустит шлюпку за борт и отчалит.

Будет зябко, и муторно, и тихий туман вокруг...

Проханов всегда хотел быть участником большого проекта. Он упоенно мечтал взрастить вождя и спасителя Империи. Делал ставку на всякого, кто отдаленно напоминал желаемый образ, и шел рядом, пока был смысл.

Но каждый раз оставался одиночкой. И останется и в этот раз. Судьба.

2007

Преодоление декаданса

Критики власти часто утверждают, что российские политические элиты – порождение фантазии Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Сложно не согласиться с этим, видя тяжелые розовые лица и слушая деревянные речи странных людей из телевизора, персонифицирующих нашу власть.

На этом фоне Владислав Сурков смотрится несколько странно и, несомненно, более выигранно. Он явно не из той оперы, вернее сказать, не из этой литературы.

Откуда же он? – задумывался я несколько раз.

Ответ пришел легко – во время прочтения нашумевшей статьи Владислава Суркова «Национализация будущего». Там среди прочего Сурков обронил слово «декаданс», обозначив им жизненный настрой тех групп людей, что разуверились в будущем России.

И сразу стало все понятно.

Сам Владислав Сурков – несомненно родом из декаданса. Русского или, скажем, французского – не важно. Остановимся на русском, просто по факту написания этих строк на русском языке.

Тут есть совершенно очевидные параллели: четвертый человек в Кремле, как известно, сотрудничал с братьями Самойловыми (поп-группа «Агата Кристи») и даже записал с ними альбом своих песен. Владислав Юрьевич у нас поет и сочиняет, если кто не знал.

Самойловы – самые отвязные декаденты нашего времени, со своей мрачной эстетикой умирания, размытыми красками мира, тотальным упадочничеством и прочими атрибутами того, что породило, к примеру, русский символизм в конце XIX века.

К тому же один из альбомов «Агаты...» так и назывался – «Декаdance». В том смысле, что тоска у нас все та же, что в начале прошлого века, но теперь мы еще и танцуем при этом.

Тексты Владислава Суркова – явное декадентство: «Светел ли твой свет? / Мрачен ли твой мрак? / Не вспоминай ответ, / Это я так... / Так ли твоя месть / Алчна, как в те дни? / Не говори мне, здесь / Мы не одни... / Дети среди ржи. / Смех на краю сна. / Даже в моей глуши / Ты мне слышна...»

Сурков отдаленно напоминает трагический типаж, сформировавшийся в начале XX века: некий юноша, посещавший в юности «Башню» Вячеслава Иванова, литературные среды у Мережковского и Гиппиус, веселые концерты футуристов, потом, в годы Гражданской войны, неожиданно объявляется в кожаной куртке в гулких коридорах Кремля. Безжалостный и беспощадный, как вылитый в черном металле апофеоз русского бунта, который в определенной, наивысшей точке превращается в свою противоположность – полное омертвление живой ткани.

Где он провел эти странные годы, между последним посещением литературных сред и неожиданным появлением на вершине власти, – не совсем ясно, да и не важно.

Основная черта этого типа – стремление к декадансу и преодолению декаданса. Я, конечно же, говорю о внешнем преодолении.

Говорят, что Сурков учился в Московском институте культуры и бросил его. Говорят, что он выступал в качестве литературного обработчика всевозможной романной беллетристики. Не важно, правда ли это. Важна суть: появление подобных слухов неизменно имеет под собой почву. Хоть какую-то. Никто не будет подобные слухи распускать о любом другом жителе Кремля. Не те типажи.

Сурков – иной.

Что-то почти невыносимое вечно раскалывает этот тип людей: с одной стороны, они всегда презирают всевозможную богему, вялых поэтов со слабым рукопожатием, поэтические томления и рефлексии; с другой – их мучительно тянет в сообщество людей культуры, привле-

кает терпкий вкус тления, сладостное и столь точно формулируемое – хоть в музыке, хоть в поэзии – ощущение распада.

Быть может, на этом фоне они особенно остро чувствуют свою ледяную волю, свое, видите ли, право на власть и на все дела, сопутствующие внедрению повсеместного – в их понимании – порядка.

Ну и, конечно же, к самому понятию «декаданс» они относятся крайне негативно. И декларируют это...

Однажды мне довелось встречаться с Владиславом Сурковым в Кремле. В составе группы российских писателей.

У Суркова мягкие движения и улыбающиеся глаза, которые смотрят собеседнику в переносицу, от чего возникает ощущение, что он видит и тебя, и то, что у тебя за спиной. За три часа общения я ни разу не смог перехватить его взгляд глаза в глаза.

Притом что, повторяю, он всегда смотрит на тебя.

От него исходит ощущение и некоего странного надлома, и – одновременно – физической силы. В «желтой» прессе писали, что Сурков всерьез занимался искусством рукопашного боя и на исходе жизни «закостеневшего» СССР попал в «Менатеп» в качестве охранника первого лица – Михаила Ходорковского. Наверное, это неправда.

Но ведь и эта ложь концептуальна.

У телохранителя, утверждает пресса, довольно быстро обнаружились иные таланты – в области PR. И они, как показывает развитие событий, были востребованы и в «Менатепе», и – чуть позже – в Кремле.

Сурков, что ныне известно всем, является определяющей фигурой российского политического пиара. А в силу того что сегодня пиар подменяет идеологию, можно сказать, что Сурков – главный российский идеолог. Человек, пришедший на смену иосифлянину Филофею («Москва – Третий Рим») и министру народного просвещения графу Уварову («Православие, самодержавие, народность»). Он должен сформулировать нашу национальную идентичность, а то она у нас куда-то завалилась.

...Сурков говорил три часа, и вся речь его, по сути, была преодолением декаданса. В том смысле, естественно, в каком это слово упоминает Сурков: декаданса как психологического и социального упадничества. Литература ни при чем.

– Часто, когда говоришь с людьми, чувствуешь, что отношение к тому, что случилось с Советским Союзом, дает им некое ощущение поражения, – сказал Сурков и обвел собравшихся вполне бесстрастным взглядом, но губы его при этом тонко улыбались.

– Мы не проиграли, – сказал Сурков. – Мы вообще более свободны, чем когда бы то ни было за всю историю России. Мне кажется, что если мы будем воспринимать наше настоящее как производное от поражения, если в нас будет присутствовать эта постоянная родовая травма, то ничего хорошего у нас не получится. Я уверен, что европейская сущность нашей культуры привела нас – своим путем, быть может, окольным путем, достаточно кривым, как часто у нас бывало – но туда, куда идет вся европейская цивилизация.

(Куда, кстати?)

Следом зашел разговор о СМИ – и, как следствие, о свободах.

– Я хотел бы напомнить, что мы имеем всего лишь три телевизионных канала, – сказал Сурков. – Но мы ни в малейшей степени не воздействуем на тысячи других средств массовой информации и не собираемся это делать. Тем не менее с недавнего времени у нас появилась странная профессия: счетчики демократии. «Вот стало меньше демократии, вот – стало больше». Это, конечно же, демагогия. В разных странах очень по-разному формируют структуру власти. Никаких догм здесь нет.

Если извлечь сухой остаток из всего сказанного им, то можно свести это к нескольким ключевым фразам:

Нас никто не побеждал.

Никаких догм у нас нет.

И не меряйте нашу демократию. Мы сами себе весы.

Такая вот идеология, чуждая мне в каждом постулате. Потому что мы проиграли и проигрываем до сих пор самым чудовищным образом. Потому что власть нуждается в догмах и минимальное чувство стыда ей тоже не помешает. Потому что, если мы не вправе замерять вашу демократию, отчего вы тогда вправе замерять нашу оппозицию?

«Если России нужна национальная идея, она может быть только одна: самоуважение», – сформулировал Сурков в финале разговора.

И это тоже, без сомнения, явное доказательство лично им преодоленного упадничества.

Кажется, что в словах кремлевского идеолога звучит некий металл, быть может, для кого-то даже драгоценный.

Но достаточно прийти домой и включить диск с песней Суркова, чтобы это ощущение исчезло: «Время угрюмое, кончились праздники. / Мир и покой. / Ломятся в дверь. / Это черные всадники. / Это – за мной. / Пусть меня гонят сквозь город простуженный / И через мост. / Прямо туда, где метелью разбуженный / Старый погост. Буду бежать без оглядки, без отдыха, / Только быстрее. / Слыша в аккордах морозного воздуха / Топот коней».

Похоже, это скачет Медный Всадник. И величественный бронзовый Петр по-прежнему различает в ледяном царедворце смятенного и слабого человека.

Человек бежит прямо к черному разлому в собственном сердце.

2006

Кто виноват – Колобок?

В течение одного дня этого странного, сухого, медленного августа сразу из десяти федеральных изданий я узнал, что каким-то не совсем внятным образом повлиял на тех молодых людей, что устроили взрыв на Черкизовском рынке в Москве. Суда, собственно, еще не было, но газетчики уверенно называют троих задержанных виновниками.

«У Захара Прилепина, похоже, появились поклонники, лепящие свою жизнь с героев его романа, – сообщила мне утренняя газета. – У студента Ильи Тихомирова среди книг и печатных материалов по пиротехнике был найден роман Захара Прилепина “Санька”».

Не нашли у задержанных сказку «Колобок», не обнаружили «Мойдодыра». Некому на них было повлиять, кроме меня.

В моем романе действительно описана молодежная организация вполне радикального толка. Но так сложилось, что за весь роман мои экстремисты не убивают ни одного человека, не декларируют националистических взглядов и уж тем более не готовят взрывов на рынках. Там много других вещей происходит: молодые люди дерутся, роняют цветочные лотки, пьют, ругаются нецензурно.

Несомненно, все это может на кого-то повлиять плохо.

Я, например, одно время часто проходил мимо рынка, над которым возвышался огромный плакат, изображавший беременную женщину. На плакате было написано «Жизнь прекрасна».

Отчего-то люди, толкавшиеся на рынке, считавшие блеклую мелочь на серых ладонях, дурно воспринимали изображенное и выражались в адрес плаката неприличными словами. И старики, и грузчики, а порой даже молодые родители.

Как я понял, женщина на плакате устраивала всех, надпись устраивала меньше, а совмещение женщины и надписи в единое целое уже раздражало.

Недавно плакат изуродовали, и пришлось его снять. Рядом, кстати, висят другие плакаты – мобильные связи, минеральные воды, – но их не трогают.

Странно, подумал я (кстати, многодетный отец), странно – социальная реклама вызывает агрессию. Мне, признаться, тоже хотелось что-нибудь сделать с плакатом, приписать несколько слов от себя.

Но я сдержался.

А бывает, люди, прочитав цифры на трамвайном билетике, могут разозлиться, потому что номер несчастливый. Я к тому, что на всякую печатную информацию найдется свой чудак. Вот и у меня, кажется, нашелся. Вернее, нашлись. Самого разного типа чудачки. И химики, и лирики.

Осознавая, что в моей книжке ксенофобии ни с каким фонарем не найти, газетчики весело фантазируют, что «призывы к радикальной деятельности» там «читаются между строк».

Когда я учился вождению, мне опытные мужики говорили: «Думай за дурака!» В том смысле, что надо просчитывать ситуацию не только за себя, но и за того парня, что неожиданно захочет дать по газам. Дорога доказывает, что цель эта, в сущности, недостижима. Чудачки на дорогах непредсказуемы, неумолимы и бодры. Их много. Не ездить теперь?

А литература вообще живет на бешеных скоростях, и о дураках там думают только те, кто пишет для дураков. Иначе как бы кудрявый юноша Саша Пушкин вложил в уста симпатичному террористу сказку о том, что жизнь прекрасна, когда хоть раз удастся напиться свежей крови?

...Мне некогда было думать об этом в течение дня, я работал. За окном все время насыщалось больной серостью небо, а дождя не было.

По улице тихо бродили или спешили всякие-разные люди.

Те, что бродили, собирали бутылки и потом тихо курили на углу бычки не больше человеческого ногтя величиной. Каждый собиратель посуды был похож на перезревший лесной гриб с налипшей то ли грязью, то ли овядшей, почерневшей листвой.

Те, что спешили, забирались в маршрутки и, безропотно давясь, ехали домой – к детям, к ужину, к чему там еще.

«Эти люди не читают между строк», – так подумалось мне. В России нынче незачем искать скрытые смыслы. Страна раскрыта подобно свежеубиенному животному на бойне: четыре ноги вверх, внутренности настежь – хоть подходи и руки грей.

Реальность очевидна, она вопиет о себе, ни к чему лезть в книгу, чтобы раскрыть свои светлые очи и познать все. Все видно – иди и смотри.

Страну уже столько раз взрывали – кто только не взрывал, – и вот, надо же, нашелся источник беды! Мне думается, что между строк читали вовсе не виновники взрыва: я не знаю этих людей и считаю их безумцами, кто бы они ни были.

В малое пространство, делящее печатные тексты, забираются, подобно многоногим проворным домашним насекомым, те, кто на грязи и чужой крови немедленно решает свои частные проблемы – к примеру, сохраняют свою власть. Иные просто зарабатывают деньги: им втрое платят за каждое неразумное слово. Питаются они там, одним словом.

Мимо обветшалога трамплина, мимо скромного Оперного театра, мимо тихого рынка я ехал домой. У меня не было никаких новых ощущений. Мое сердце во мне, мой рассудок на месте. Не лезьте ко мне между строк.

2006

Господин Президент, не выбрасывайте блокнот!

В Ново-Огарево было тихо. Нас, молодых и не совсем молодых писателей в количестве тринадцати человек, пропускали по одному за железную дверь с окошком.

Мы оглядывали высокие стены резиденции главы государства.

У ворот стоял улыбчивый матерый милиционер, и если мы пытались с ним пошутить, он весело, в тон отвечал.

Автор отличной книги «Я – чеченец!» Герман Садулаев, букеровский лауреат Денис Гуцко, замечательный прозаик Илья Кочергин – все мы не торопились, давая пройти девушкам и более молодым коллегам.

В шутку я грозил Денису Гуцко, что если он опять поднимет тему национализма в России (как он это уже делал на встречах с Дмитрием Медведевым и Владиславом Сурковым), то я непременно напишу черным мелком на розовых стенах резиденции «Здесь был Гуцко!» и пририсую свастику.

Гуцко смеялся и несогласно крутил лобастой головой.

Садулаев зашел предпоследним, я последним.

«Самые крепкие остались. Наверное, прозаики?» – пошутил милиционер.

«Так точно!» – ответил я.

Меня пропустили, предварительно проверив металлоискателем одежду и предложив вытащить все из карманов. Я и так все вытащил еще в автобусе, на котором нас привезли в Ново-Огарево. Но у меня остались пачка сигарет и зажигалка. В пачку *Winston'a* заглянули, там было семь штук «синих». Зажигалку повертели в руках и отдали.

На входе в резиденцию Президента РФ стояли рослые охранники в пиджаках. Они не мерзли и даже не поеживались. Вели себя приветливо.

У президента проходило какое-то совещание, и нам пришлось немного подождать в специальной комнате на втором этаже. Мы с Кочергиным пошли покурить, но охранники в холле сказали, что здесь никто не курит.

Мы не уходили, перетаптываясь, и они разрешили нам покурить на улице.

День был хороший, солнечный и бесснежный – ровно такой, чтобы запомниться на всю жизнь.

Мы весело задымили. Потом обнаружили, что вокруг нет ни урн, ни пепельниц, посему Кочергин бросил свой бычок с порога, а я, как более ответственный, спрятал в сугроб, продавив бычок пальцем. Весной он оттает вместе с сугробом.

Когда мы вернулись, Гуцко огорчился, что его не позвали курить. Мы в ответ поведали про сплошь некурящую охрану, но тайно признались, что за пятьдесят рублей охранники выпускают покурить на улицу.

Предложили Гуцко подойти и незаметно сунуть полтинничек охраннику в карман, тогда не будет против, все сразу поймет и потрафит русскому писателю в желании отравиться никотином.

Денис нам не поверил, он умный.

Наконец нас пригласили в кабинет. Там уже стояли охранники президента, телекамеры, журналисты. Я узнал Андрея Колесникова («Коммерсантъ»), у него было скучающее и немного презрительное лицо. Что ему, он столько раз Путина видел.

Тут вошел Путин и со всеми поздоровался лично, даже с девушками. У него мягкая спокойная рука, он не стремился сломать все шестнадцать пальцев тому, чью ладонь пожимал. И улыбка у него спокойная и мягкая. По-моему, я тоже улыбнулся в ответ, хотя не настаиваю. Все, кто видели меня по телевизору, утверждали потом, что у меня было хмурое, неприветливое лицо. Видимо, я себя не контролировал.

Мне досталось место прямо напротив президента. Справа от меня сидела критик Валерия Пустовая, а слева поэт Андрей Нитченко. Слева от Путина сидела очаровательная девушка, писатель Анастасия Чеховская, а справа – советник по культуре Юрий Константинович Лаптев (за всю встречу он, по-моему, сказал только три слова; эти слова были «Я не знаю» – и произнес он их, когда президент попросил напомнить отчество какого-то чиновника).

Президент выступил с краткой приветственной речью, в ходе которой сообщил, что книга – это «стабильный носитель информации, над которым не спеша можно посидеть, подумать, можно поразмышлять».

Еще он сказал, что «сто шестьдесят национальностей говорят на русском языке – разных совершенно людей; это значит, что русская литература, русский язык – это государственнообразующий фактор, это совершенно очевидная вещь». И тут я, наконец, совершенно серьезно с президентом согласился.

Молодые литераторы много говорили о необходимости помогать литературе, литераторам и «толстым» журналам. Путин ни с кем не спорил, трижды произнес слово «дотировать» (а также «напрямую дотировать») и не менее десяти раз слово – прошу прощения за случайную рифму – «госзаказ».

При этом я иногда подрагивал плечами, словно вступал в холодную воду. Мне очень сложно представить госзаказ на свои книги, это должно быть очень веселое государство, с такими заказами.

Впрочем, ничего против госзаказа для детской литературы и тем более против детского телеканала я не имею – а об этом тоже шла речь, и Путин сказал, что детское телевидение на отдельной частоте появится уже в этом году.

Тем временем мужчины в пиджаках и в бабочках разносили чай и маленькие пирожки, которые я не решился отведать на виду у президента и только смотрел на них иногда. Позже писательница Ирина Мамаева рассказала, что свои пирожки она все-таки съела, они были с мясом и очень вкусные.

Мамаевой хорошо, она сидела сбоку.

Зато чай был теплый и удивительно прозрачный, как будто зеленый, хотя по вкусу оказался черным.

Президент был демократичен, прост и спокоен, и это все постепенно почувствовали. Анастасия Чеховская несколько раз перебивала президента, подыскивая ему более удачные слова, когда он на малое мгновение замолкал в поисках верной формулировки, и Путин не обижался на свою спонтанную помощницу.

Спустя несколько минут я с ужасом увидел, что Анастасия – мне так показалось – гладит президента по ноге. Нет, саму ее руку из-за стола я не видел, но точно определил по движениям плеча Анастасии, что рука эта делает нежные, глядящие движения. Ситуация усугубилась и тем еще обстоятельством, что президент мельком ласково посмотрел на руку Анастасии, не прекращая, впрочем, свою речь.

Но потом мелькнули из-под стола черные мохнатые уши, и я с облегчением догадался, что это незаметно подошла собака и положила голову ровно между ногой президента и ногой писательницы. Собачью голову гладила Анастасия.

– Ой! – весело сказала критик Валерия Пустовая, тоже заметив собачку и немного испугавшись, хотя, возможно, только для вида.

– Не бойтесь, она не сильно укусит, – пошутил президент.

Потом эта собака пришла к нам с Валерией, и я тоже ее погладил. В руке у меня осталось несколько черных волосков с собачьей головы, и я их положил в свой блокнот на память.

Тем временем меня ждало новое потрясение.

Президент к слову вспомнил кого-то из классиков, кажется, Чехова, который сказал где-то о писателях, что они зачастую то немые, то нечесаные.

Присутствующие писатели несколько напряглись, но Владимир Владимирович сразу всех успокоил, сказав:

– Да нет, у вас все нормально, я здесь вижу только двоих таких. – И он посмотрел на меня, а потом на своего помощника Юрия Лаптева.

С ужасом я подумал о своей голове, которую последние десять лет еженедельно брею наголо: как она могла показаться нечесаной и где я мог ее измазать?! Но тут президент нас с Лаптевым успокоил и пояснил:

– Я имею в виду, что вы небритые, – и он провел ладонью по скулам и подбородку, словно оглаживая несуществующую бороду и показывая, где именно у нас наличествует растительность, которой можно было бы избежать. Но, судя по улыбке президента, наша небритость все-таки была вполне простительна.

Я отпивал чай, уже немного освоившись. Правда, когда я отклонялся на спинку стула и убирал руки со стола, охранник президента, стоявший чуть позади него, сразу мерил меня грозным взглядом комика Гарика Мартиросяна. Я тут же возвращал руки обратно на стол, чтобы никого не нервировать.

По невидимым признакам поняв, что официальная часть завершена, охрана попросила журналистов удалиться, и те, начав щелкать фотоаппаратами раз в двадцать пять быстрее, постепенно вышли.

Мы остались без посторонних глаз, с ласковой собачкой и охраной.

Догадавшись, что пришло время для более серьезных бесед, Денис Гуцко спросил президента о национальной идее. В частности, Денис предложил вообще не искать эту идею, чтобы себя не ограничивать, а жить так, свободно, не заморачиваясь, чтобы потом не пришлось отвечать за ложные цели.

– Вы знаете, я действительно много думал на эту тему, – ответил президент. – И ничего хорошего пока не придумал.

Тем не менее свое видение национальной идеи президент озвучил:

– Главная задача – быть конкурентоспособными.

И в науке, и в экономике, и в культуре.

Писатель Герман Садулаев высказал опасения по поводу последних событий в Чечне, с истинно кавказской дипломатичностью сказав о том, что наибольшей поддержкой там все-таки пользуются федеральные силы и что чеченский народ нельзя бросать на произвол судьбы.

Здесь в голосе президента впервые появились железные нотки, и уверенная речь его в общих чертах свелась к тому, что опасения Садулаева скорее безосновательны.

Здесь я вступил в разговор с темой, которую еще до начала встречи с президентом обещал организаторам встречи не поднимать, но слово свое не сдержал. За что прошу прощения.

Начал я, как водится у русских писателей, издали.

Я сказал, что существует миф о внутреннем тяготении русских людей к жесткой державной руке, к деспотии и тирании. Но, сказал я, русские люди помнят и ценят милосердие своих правителей не меньше, чем любые силовые решения.

Посему мне хотелось бы, попросил я, чтобы Россия по-прежнему оставалась свободной страной, где могут заниматься политикой любые политические силы, правые они или левые, не важно.

– И тем более, Владимир Владимирович, необходимо амнистировать всех людей, которые находятся сейчас в российских тюрьмах по политическим мотивам, – попросил я.

– Вы думаете, я никого не амнистирую? – спросил президент. – Иногда до позднего вечера читаю материалы по помилованиям и потом, не дочитав, подписываю не глядя.

– Ну тем более, – сказал я. – Мне хотелось бы, чтобы российская власть вела себя более корректно и, например, никто не позволял себе таких выражений, которые позволил себе Владислав Сурков, однажды заявивший, что в России «необходимо стричь яблоки и лимоны».

– Seriously? – неласково усмехнулся президент. – Это Сурков будет их лично стричь? Я не знал.

– Да, было такое заявление.

– А вы, как я понимаю, один из представителей этих...

– Да, я один из названных плодов.

Путин кивнул головой: всё понятно. Хотя мне показалось, что и до своего вопроса всё хорошо знал.

– А вы вообще как себя воспринимаете: как строгого правителя или как доброго? – спросил я. – Каким бы вы хотели остаться в истории?

– Ну зачем сразу «в истории»? Я еще жив.

– Можно оставаться живым, но не находиться во главе государства, правильно? – уточнил я.

Не став углубляться в тему возможного продления президентских полномочий, Владимир Путин сказал, что хочет остаться в памяти народной «строгим, но справедливым».

Тут кто-то из молодых писателей попытался встрять со своим вопросом, но я попросил с крайней степенью тактичности, отпущенной мне природой:

– Может быть, Владимир Владимирович еще как-то прокомментирует мои слова?

– Вы знаете, я с представителями вашей организации никогда не общался, – сказал президент. – Вот с Григорием Алексеевичем Явлинским общался, а с вами нет. Иногда только вижу вас в отдалении, во время всевозможных мероприятий, вы то с цензурными лозунгами стоите, то с нецензурными... И я до сих пор не знаю, что вы хотите. Что вы хотите?

– Мы хотим быть допущенными в поле реальной политики, где по вине и региональных избирательных комиссий, и федерального избиркома умышленно создаются проблемы для любых в той или иной мере оппозиционных организаций, в том числе даже для таких, как СПС, не говоря о более радикальных.

– Нет, это не то все... Что вы конкретно хотите? – подавшись вперед, настаивал президент.

– Владимир Владимирович, на любом заседании самой провинциальной городской Думы могут быть подняты десятки вопросов, а вы хотите... чтобы я вот сейчас...

– Нет, давайте не будем касаться частных, где там что починить надо и так далее. Что вы хотите в целом?

Что вам нужно? У вас есть реальная возможность донести свои претензии, минуя выборы.

Мне стало понятно, что от ответа мне не уйти, и в течение десяти минут я старательно отвечал на вопросы Президента РФ. Я рассказал о Белоруссии и о том, что нас покидает последняя надежда на возможность союза с этой страной. Я рассказал о том, что вообще наш внешнеполитический курс, в том числе отношения с Грузией и с Украиной, также оставляет желать лучшего. Но не только с ними.

Кроме того, я сказал, что разделяю позицию людей, обеспокоенных ситуацией в Чечне, где до сих пор не отлажена нормальная жизнь и мнимая стабильность держится, что называется, на штыках федералов.

В социальном плане по-прежнему печальны темпы роста достатка российских граждан, и такие понятия, как «бедность» и даже «нищета», до сих пор актуальны, сказал я. Что сказывается не только на демографической ситуации, но и на состоянии общества в целом, в том числе и на культуре, добавил я.

Я сказал, что проблемы помощи молодым родителям и проблемы материнства дико актуальны, и сам я, как отец троих детей, не очень чувствую заинтересованность государства, чтобы у меня эти самые дети рождались, а потом росли здоровыми и образованными людьми.

Я сказал, что «национальные проекты» не стали панацеей для решения самых тяжелых российских проблем. Например, нацпроект в области сельского хозяйства не принес вообще ничего, и сельское хозяйство до сих пор не в состоянии обеспечить стране продовольственную безопасность, а, скажем, нацпроект в сфере жилья привел к тому, что жилье подорожало и стало еще более недоступным большинству граждан России.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.